



A. V. Kravchenko

А. В. Кравченко

ЗНАК, ЗНАЧЕНИЕ, ЗНАНИЕ

Очерк когнитивной философии языка

Иркутск
2001

Издание осуществлено при непосредственной помощи и поддержке
АЙРЕКСа и Бюро Образовательных и Культурных Программ
(ВЕСА), Иркутской государственной экономической академии и
Иркутского государственного лингвистического университета

ББК 81
Я 41

А. В. Кравченко. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка. - Иркутск: Издание ОГУП "Иркутская областная типография № 1", 2001. - 261 с.

ISBN 5-7971-0100-9

Книга представляет собой опыт методологического обобщения накопленных когнитивной наукой данных о языке как естественном объекте. Отталкиваясь от знаковой природы языка, автор предпринимает попытку охарактеризовать его функцию по представлению структур знания как функцию биологической системы, служащей адаптации человека к окружающей среде. Тем самым делается шаг к сближению языкознания с естественными науками.

Для широкого круга филологов и философов языка.

Александр Владимирович Кравченко
E-mail: sashakr@hotmail.com

ЗНАК, ЗНАЧЕНИЕ, ЗНАНИЕ
Очерк когнитивной философии языка

Подписано в печать 3.05.2001. Формат 60 x 84^{1/16}.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл. п. л. 15,11. Заказ № К-43. Тираж 2000

© Кравченко А. В., 2001

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Круг познания

- 1.1 Насколько хорошо языкознание "знает" язык? 5
- 1.2 В поисках пути 29

Глава 2. Семиотика и ее объект

- 2.1 Философский и лингвистический аспекты семиотики 37
- 2.2 Этапы становления семиотики как науки
 - 2.2.1 Классическая традиция 43
 - 2.2.2 Блаженный Августин и его последователи 46
 - 2.2.3 Пирс и Соссюр 52
- 2.3 Семиотика и современное языкознание 58

Глава 3. Семиозис как когнитивный процесс

- 3.1 Откуда берутся знаки?
 - 3.1.1 Знак как категория 73
 - 3.1.2 Роль интерпретации в семиозисе 79
- 3.2 Естественные и конвенциональные знаки 87
- 3.3 Сущностные характеристики знака
 - 3.3.1 О соотношении означающего и обозначаемого 91
 - 3.3.2 Символ и знак 97
 - 3.3.3 Материя языкового знака 109
- 3.4 Конвенциональность и интенциональность 123

Глава 4. Сущностные свойства языка	
4.1 Вводные замечания	134
4.2 Значение и смысл, или проблема определений	139
4.3 Свойства языка как эмпирического объекта	
4.3.1 Биологическая концепция языка	157
4.3.2 Биологический подход к информации	171
4.4 Язык как адаптивная деятельность	184
Глава 5. Когнитивная концепция знака	
5.1 Онтологический статус знака	
5.1.1 Репрезентации	195
5.1.2 Каузальные связи	204
5.1.3 Когнитивная настройка организма	209
5.2 Гносеологический статус знака	
5.2.1 Неязыковые и языковые сущности	214
5.2.2 Когнитивная область взаимодействий	222
5.3. Интенциональность и значимость	226
Краткий итог	238
Литература	241

Глава 1. Круг познания

*Посвящается моей матери,
Н. Ф. Кравченко*

Глава 1.

КРУГ ПОЗНАНИЯ

1.1 Насколько хорошо языкознание “знает” язык?

Ничто в мире, известном человеку, не представляется столь интересным и загадочным, как живой человеческий (естественный) язык. Мы все говорим на каком-нибудь из нескольких тысяч известных языковедам языков, с помощью языка мы общаемся между собой и познаем окружающий мир, без языка трудно представить самое осознанное бытие человека.

На вопрос: “Для чего нужен язык?” любой ответит, что язык прежде всего необходим для общения, т. е. язык есть средство *коммуникации*. Такое понимание языковой функции доминирует в современной лингвистической литературе (см. напр. Van Valen, LaPolla 1997). Однако такое определение не охватывает всей сущности языка. Как подчеркивал В. А. Звегинцев (1996:50), “язык — это деятельность, вовлекающая все функции, делающие человека человеком. И язык — это деятельность, которая создает средства для ее осуществления сообразно тем многообразным функциям, которые выполняет язык. ...Сводить изучение языка к рассмотрению его лишь как средства, с помощью которого осу-

ществляется общение или мышление, это значит заведомо суживать поле своего исследования и отказаться от познания подлинной природы языка во всей его полноте”.

Но неужели подлинная природа языка до сих пор не познана, несмотря на тот неослабевающий интерес, который проявлял к языку человек на протяжении тысячелетий? Разве лингвистами, философами, психологами, социологами и представителями других отраслей научного знания не написаны тысячи и тысячи работ, посвященных языку в различных его проявлениях и описывающих эти проявления в исчерпывающей полноте? И да, и нет. “Да” в том смысле, что такое описание порой носит действительно исчерпывающий характер, “нет” — в том смысле, что описать нечто еще не означает это нечто понять и объяснить.

Всем нам известны тривиальные примеры, иллюстрирующие степень осознанности нашей языковой компетенции при пользовании родным языком. Образованный начитанный человек, как правило, не испытывает затруднений в определении “правильности” либо “неправильности” того или иного выражения родного языка, и хотя грань здесь бывает очень тонкой, мы обычно знаем: “так говорят”, а “так не говорят”. Но если нас спросят (например, иностранец-неславянин, изучающий русский язык): “Почему так не говорят?”, мы чаще всего просто разведем руками, так как вразумительного объяснения дать не можем. Действительно, почему можно сказать *Я дотронулся*, и нельзя **Я докоснулся*, хотя можно сказать *Я прикоснулся* и *Я притронулся*? Конечно, ученый-лингвист в данном случае объяснит ограничения, накладываемые на префиксальное словообразование названных глаголов, связав их с явлением транзитивности и характером выражаемых тем или иным глаголом пространственных отношений — но ведь обычный человек, не имеющий специального лингвистического образования, такими понятиями не оперирует,

он их просто не знает; тем не менее, он знает, что одно правильно, а другое — нет. Однако, даже лингвисты не всегда могут ответить на все “Почему?”, связанные с особенностями различных языковых явлений, хотя сами эти явления давно известны и описаны. Другими словами, “создалось парадоксальное положение, при котором после тысячелетнего изучения языка теперь многое приходится начинать заново” (Звегинцев 1996:191).

Однако такое парадоксальное положение вызвано не тем, что на протяжении многих столетий язык изучался “не так, как надо”, или тем, что внимание философов и лингвистов было направлено “не туда”. Как абсолютно справедливо отмечает П. Сойрен, “современная лингвистика, к сожалению, привыкла жить без собственной истории. Это обстоятельство печально не только потому, что ведет к суживанию горизонта... но еще и потому, что создает риск постоянного переизобретения колеса”. В результате, многие важные вопросы, привлекавшие к себе внимание еще с античных времен, “выпали из поля зрения современной лингвистики, отчего она многое потеряла” (Seuren 1998:xi).

20-е столетие — особенно вторая его половина — интересно как раз тем, что лингвистическая общественность серьезно задалась вопросом: в какой степени сегодняшняя наука о языке в состоянии объяснить уже известные факты? Ведь “надо отдавать себе ясный отчет в том, что, не располагая специальной объяснительной теорией, служащей основой не только описания фактов языка, но и объяснения действия механизма языка, мы не сможем адекватно справиться со своими научными обязанностями” (Звегинцев 1996:56). Поэтому лингвистика сегодня как никогда должна стремиться к приобретению более объяснительного характера, чем это было ей свойственно до сих пор (Кубрякова 1999б:6).

Так, например, в лингвистической типологии главную теоретическую проблему представляет функциональное объяснение различного рода универсалий, которые в той или иной степени обнаруживаются в разных языках. Однако функционализм не имеет четкого определения как концепт. Это, в общем-то, неудивительно, так как обусловлено самой природой концепта как ментальной структуры, равно как и тем, что недостаточно известно, как работает механизм языка — но об этом речь пойдет позднее.

Примером объяснительной недостаточности (я бы даже сказал, ущербности) — при одновременной описательной адекватности — является приведенное выше общепринятое определение языка. Недостаточность эта весьма прозрачна и лежит на поверхности: само по себе определение языка как средства общения уже предполагает орудийный характер языка, ибо всякое средство призвано служить достижению некоторой цели. Какой же цели служит язык, в чем его предназначение?

Ответ прост и напрашивается сам собой: если коммуникация есть обмен информацией, значит посредством языка и осуществляется такой обмен. Как отмечал Н. И. Жинкин (1998:12), язык есть “совокупность средств, необходимых для того, чтобы перерабатывать и передавать информацию”. Это определение можно уточнить, сказав, что язык служит для *создания, хранения, извлечения и передачи информации*. Предназначение языка состоит в том, чтобы “быть инструментом передачи знаний в актах общения, служить выражению значений в коммуникации”; главная его функция — *работа с информацией*, включая как ее фиксацию в сознании говорящих, так и целевое предназначение ее для *передачи* другим людям (Кубрякова 1997б:46, 307). Следовательно, изучение особенностей коммуникации во всех ее аспектах (т. е. языка в его функционировании) не-

возможно без изучения того, что есть информация, каких видов она бывает, в чем ее смысловая (содержательная) и ценностная (аксиологическая) сущность. Это, так сказать, один аспект проблемы.

Второй аспект проблемы, самым непосредственным образом связанный с первым, заключается в недостаточной изученности содержательной стороны языковых единиц различных уровней. Речь в данном случае идет о коренном вопросе языкознания, а именно, об истоках, механизмах и способах формирования языкового значения как определенным образом категоризованной информации (см. напр. Aitchison 1994).

Дело в том, что значение живой, т. е. употребленной в акте коммуникации языковой единицы (слова, словосочетания, предложения) нельзя определить, опираясь на некоторый конечный фиксированный набор элементарных компонентов — так называемых *семантических примитивов* в духе работ А. Вежбицкой (Wierzbicka 1972, 1996) или Ю. Д. Апресяна (см. напр. Апресян 1999). Хотя для решения определенных частных задач компонентный анализ играет существенную роль, ограниченные возможности такой методики определяются уже тем, что языковая система а priori рассматривается как автономное образование, заключенная в самой себе и самодостаточная. Более того, как справедливо отмечает Р. М. Фрумкина (1999:36), превратившись по воле исследователя в предмет семантического анализа, слово становится “изолированным сгустком смысла, словом *in vitro*, т. е. конструктом со своим модусом существования”, оно в принципе отлично от того слова, с которым мы имеем дело *in vivo*.

Между тем, как показывают данные различных психолингвистических экспериментов, “за словом не закреплено постоянное значение. За словом всегда стоит многомерная система связей” (Лурия 1998:139). Обращаясь к проблеме экспликации зна-

чения слова “холостяк” (которое неоднократно становилось примером анализа в лингвистической литературе) посредством более элементарных терминов, Т. Виноград и Ф. Флорес (1996: 221) вполне обоснованно указывают на то, что “не существует такого непротиворечивого “контрольного списка” какой угодно протяженности, в соответствии с которым объекты, удовлетворяющие всем названным условиям, последовательно назывались бы “холостяками”, а не удовлетворяющие одному или более из этих условий не назывались бы ими. Нельзя ответить на вопрос: “Является ли Х холостяком?”, не принимая во внимание возможных ответов на вопрос: “А зачем вам это знать?” Очевидно, что между количеством слов, которыми мы пользуемся, и количеством концептов, которыми мы оперируем на уровне ментальных репрезентаций, нет прямого соотношения: последние значительно превосходят первые (Sperber, Wilson 1997; Dirven, Verspoor 1998).

Наконец, проблема предназначения языка имеет еще один аспект, традиционно рассматривавшийся в философии в рамках теории познания, а с недавнего времени — в когнитивной науке, особенно в тех ее отраслях, которые ориентированы на раскрытие естественнонаучных принципов познания как биологического процесса. Если исходить из того, что разум, в самых общих чертах, есть способность извлекать информацию из окружающего мира и использовать ее во благо (Dennett 1992), а язык является той средой, в которой и посредством которой этот процесс осуществляется наиболее эффективным образом, то закономерно возникает вопрос о возможной взаимозависимости между языком и “разумностью” как отличительным признаком биологического вида *homo sapiens*. Чтобы ответить на этот вопрос (т. е. имеет ли место такая зависимость в действительности), необходимо иметь представление о том, что есть сознание как свойство живого

организма, и чем человеческое сознание кардинальным образом отличается от сознания других животных, например, приматов. Интуитивно это отличие связывается с языковой способностью человека (Pinker 1995b), но каким образом эта способность обеспечивает человеку как виду вершинное положение на эволюционной лестнице, остается неясным.

Проблема языкового детерминизма (гипотеза Сепира-Уорфа) продолжает оставаться проблемой, так как ученые не смогли пока найти надежных свидетельств тому, что когнития может находиться в определенной зависимости от языка. Однако в последнее время появляются новые данные в пользу релятивистской концепции (Heine 1997:11, Skoyles 1998). Так, данные одного естественного эксперимента, проведенного австралийскими психологами (см. Peterson, Siegal 1995), служат прямым указанием на то, что язык формирует когнитию.

Приведенные соображения достаточно убедительно говорят о том, что наука, имеющая объектом своего изучения естественный язык, должна рассматривать его по крайней мере в трех иерархических плоскостях: а) язык и разум (знание), б) знание и структуры сознания (категоризованная информация и концепты), в) информация и знак (общесемиотическая проблема значения), не забывая при этом, что адекватное понимание объекта достижимо при холистическом подходе к языку (Josephson, Blair 1982). Важно подчеркнуть, что выделение этих плоскостей анализа и осуществление холистического принципа не отменяют общей методологической установки, которая, к сожалению, нередко игнорируется во многих современных лингвистических штудиях, а именно: “лингвистика по-прежнему остается частью общей семиотики как науки о знаковых системах” (Фрумкина 1999:31).

На протяжении почти всего 20-го столетия значение трактовалось как некоторое содержание, вложенное в определенную

форму, как своеобразный посредник между присутствующей вещью (= знаком), которая является носителем значения, и отсутствующим объектом, на который указывает значение (КФЭ 1994:166). Особенно ярко такой подход к языку проявился с развитием идей американского дескриптивизма и европейского структурализма.

Со времен Э. Сепира и Л. Блумфилда надолго утвердилась традиция рассматривать язык как систему специально производимых символов (Сепир 1993:31). Л. Блумфилд утверждал, что необходимо изучать языковые привычки людей — то, как они говорят — не задаваясь вопросом о ментальных процессах, которые, как мы можем предположить, лежат в основе или сопровождают привычки (Bloomfield 1922:142; см. тж. Seuren 1998:453).

Структурализм, пришедший на смену дескриптивизму, довел этот принцип до логического абсолюта, что в конечном итоге сыграло не последнюю роль в постепенной утрате им ведущих позиций в языкознании, и сегодня лингвистика вновь обращается к своим доструктуралистским традициям (Geeraerts 1988:660). Вспомним хотя бы известное утверждение Ф. де Соссюра о том, что “язык есть форма, а не субстанция. Необходимо как можно глубже проникнуться этой истиной, ибо все ошибки терминологии, все наши неточные характеристики явлений языка коренятся в том невольном предположении, что в языке есть какая-то субстанциальность” (Соссюр 1977:154). Другими словами, “форма — все, содержание — ничто!”. В этом тезисе находит отражение свойственный “чистому” структурализму уклон в формализм, поскольку недооценивается содержание знаковых форм (о философских проблемах, возникающих в результате отождествления формальных моделей языка с самим языком, см. Stenlund 1990). По Фоме Аквинскому, Бог — чистая форма, т. е.

можно продолжить линию Соссюра в том плане, что язык имеет божественную природу и “в начале было Слово” [λογος] (к этому мы еще вернемся).

Философское понятие формы имеет следующее определение: “внешнее очертание, наружный вид предмета, внешнее выражение какого-либо содержания, а также и внутреннее строение, структура, определенный и определяющий порядок предмета или порядок протекания процесса в отличие от его “аморфного” материала (материи), содержания или содержимого” (КФЭ 1994:489). Даже если понимать под формой внутреннюю структуру (как это, очевидно, делает Соссюр), то получается, что материальные оболочки языковых знаков, т. е. количественно различные последовательности звуков (синтагмы) — а именно, звучащие слова, словосочетания, предложения, высказывания, дискурсивные единицы — суть аморфный материал, не обладающий значимостью, если неизвестна определяющая этот процесс совокупность отношений, образующих структуру. Это может быть справедливо по отношению к языку, нам полностью неизвестному (звучащая на этом языке речь воспринимается как сплошной поток звуков, с трудом поддающийся членению на какие-то единицы), но не по отношению к родному языку. Говоря на родном языке, мы прежде всего имеем дело с субстанцией (содержанием), а уже потом обращаем внимание на форму — которая, кстати говоря, не всегда обязательно соблюдается. Более того, бывает так, что форма намеренно искажается говорящим для создания определенного коммуникативного эффекта, что, однако, не влияет на содержание, которое остается неизменным, ср.: *Моя твоя не понимай*. Это значит, что языковая форма имеет тенденцию адаптироваться к выражаемому ей значению, но не наоборот (Heine 1997:4).

В этой связи интересен процесс извлечения из памяти событий, удаленных во времени. Вот что пишет по этому поводу Р. Нолан (Nolan 1994:2):

“...Запомненные события из отдаленного прошлого, по-видимому, не извлекаются из памяти в виде языковых описаний, даже если они имеют своей составной частью чье-то высказывание о них. Фактически, даже запомненные высказывания припоминаются не как в точности произнесенные конкретные слова, они припоминаются лишь как содержание высказываний. И это тоже любопытно. Если язык предоставляет в наше распоряжение синтаксические структуры, с помощью которых мы сохраняем и извлекаем наши воспоминания, тогда почему эти структуры не вызываются в долговременной памяти? ... Мы обычно не помним словесный дискурс либо словесные описания событий. Мы помним содержание дискурса, и мы вспоминаем сами события”.

Обращаясь к содержательной структуре знака в связи с проблемой значения, Т. Гивон (Givon 1995:5) справедливо указывает, что еще в аристотелевой семиотике присутствовало третье важнейшее звено — духовное, без которого любые попытки проникнуть в сущность знака естественного языка неминуемо обречены на неудачу. Игнорирование человеческого фактора в языке привело, в частности, к появлению трех соссюрловских доктрин, очень скоро превратившихся в догмы: о различии между *языком* и *речью*, о произвольности языкового знака и о недопустимости смешения *диахронического* и *синхронического* описания языка. Эти три постулата надолго определили общий концептуальный подход к изучению и описанию языка, который продолжает удерживать прочные позиции в современном языкознании.

Вместе с тем, в последнее время все чаще звучит критика в адрес соссюрловских максим (см. напр. Givon 1995; Гаспаров 1996; Степанов 1997; Живов, Тимберлейк 1997; Трофимова 1997,

Heine 1997), ибо современный уровень осмысления накопленных языкознанием фактов, опирающийся на достижения комплекса когнитивных наук, дает основания если не для полной, но все же ревизии многих устоявшихся взглядов. Отчасти это вызвано тем, что “структуральное направление в языкознании, абсолютизируя роль отношений, в которых находятся друг к другу языковые единицы, в формировании их качественной определенности, постулируя принцип имманентности языка, отрицает связи, отношения и взаимодействия языковых явлений с неязыковыми, т. е. ограничивает действие принципа связи и взаимодействия лишь пределами языка. Тем самым абсолютизируется та относительная самостоятельность, которая, действительно, свойственна языку как системе” (Панфилов 1977:68). Как следствие этого, “объяснительные возможности структуральной лингвистики... скромны” (Heine 1997:149), хотя она и внесла свой определенный вклад в развитие науки о языке, в частности, в семантику (см. Апресян 1999).

В современных исследовательских подходах к языку “разрушаются и размываются границы, установленные и принятые до сих пор, т. е. в период структурализма и постструктурализма: границы между семантикой и психологией, между диахроническим и синхронным описанием, языковыми и речевыми употреблениями (они оказываются проявлениями языковой способности), между словарной и энциклопедической информацией, существенными и факультативными семантическими признаками, между отдельными подзначениями лексем и даже разными лексическими концептами” (Рахилина 1998:317). В частности, принципиальный характер неразличения законов исторического развития языка и его синхронного устройства, характерного для аналитических процедур в когнитивной семантике (см. Heine 1997), обусловлен, в первую очередь, тем, что язык не

существует вне человека, а человек не существует вне времени. Более того, "нет времени вне человека" (Гак 1997:124; см. тж. Maturana 1995), а деление его на фазы синхронии и диахронии, противопоставленные друг другу в собственной мысли того, кто оперирует этим противопоставлением, нарушает единство времени (Дорошевский 1973:55 и сл.). По справедливому замечанию Ю. С. Степанова (1981:278 и сл.), "понимание универсальности Языка требует признания того, что в основе Языка лежит всевременная (панхроническая) знаковая система и структура. Однако признание этого факта вовсе не требует понимания самой системы и структуры как статичных". Нельзя понять сути языка, не поняв происходящих в нем изменений, и наоборот (Keller 1998).

Особенностью функционирования языка является его постоянное изменение, поэтому полное описание языка должно учитывать и диахронические процессы (Плунгян 1998:325). Соссюр в свое время утверждал, что "нет языка, которому можно было бы приписать возраст, ибо любой язык в любой момент является не более как продолжением состояния, существовавшего до него" (Соссюр 1977:252). Если согласиться с этим утверждением, то неизбежен вывод об извечном (или предвечном?) существовании языка, как, например, в концепции индийского философа 5 в. Бхартхархи, в соответствии с которой существо языка не имеет ни начала, ни конца (Matilal 1990). То есть, получается, что язык был всегда — *ipso facto*, и человек был всегда. Таким образом, вопрос о происхождении языка (и, соответственно, человека) оказывается втянутым в круг проблем, от рассмотрения которых лингвистика, если она хочет быть настоящей последовательной научной дисциплиной, не может уйти.

Вообще, соображения Соссюра по этому поводу отличаются заметной противоречивостью. С одной стороны, следуя

традиции, идущей от Демокрита и Аристотеля и продолженной Ж. Руссо, он утверждает, что "язык существует только в силу своего рода договора, заключенного членами коллектива" (там же, с. 52). С другой стороны, "во всякую эпоху, как бы далеко в прошлое мы ни углублялись, язык всегда выступает как наследие предшествующей эпохи. Нетрудно себе представить возможность в прошлом акта, в силу которого в определенный момент названия были присвоены вещам, то есть в силу которого было заключено соглашение о распределении определенных понятий по определенным акустическим образам, хотя реально такой акт никогда и нигде не был засвидетельствован. Мысль, что так могло произойти, подсказывается нам лишь нашим очень острым чувством произвольности знака." И далее: "Фактически всякое общество знает и всегда знало язык только как продукт, который унаследован от предшествующих поколений и который должен быть принят таким, как он есть. Вот почему вопрос о происхождении языка не так важен, как это обычно думают. Такой вопрос не к чему даже ставить; единственный реальный объект лингвистики — это нормальная и регулярная жизнь уже сложившегося языка" (там же, с. 104-105).

Если исходить (хотя бы чисто гипотетически) из того, что "акт наречения" имел место в какой-то момент человеческой истории, это сразу создает дилемму: либо до этого "акта" языка не было, хотя был человек — но тогда человек не мог принимать участия в заключении "договора", поскольку не существовало средства для осуществления осмысленной коммуникации (т. е. языка); либо язык уже был (в данном случае неважно, откуда и когда именно он появился) — но тогда исчезает собственно "предмет" договора, т. е. язык как система знаков, за которыми в результате такого договора закрепляются определенные значения. Более того, как могло осуществиться "распределение поня-

тий по акустическим образам” (откуда взялись эти акустические образы — отдельный вопрос), если “взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто четко не разграничено. Предустановленных понятий нет, равным образом как нет никаких различий до появления языка” (там же, с. 144)?

Итак, с одной стороны, существенной характеристикой языка является его конвенциональная (социальная) природа, определяющая распределение понятий по знаковым сущностям, а с другой стороны, этих понятий нет до тех пор, пока не появляется язык. Видимо, для того, чтобы в принципе избавиться от необходимости поиска возможного разрешения этого противоречия, Соссюр и отбрасывал вопрос о происхождении языка как несущественный для лингвистики.

Здесь уместно вспомнить об известном разграничении В. фон Гумбольдтом двух возможных подходов к изучению языка — как деятельности и как продукта деятельности. Вот что писал по этому поводу В. А. Звегинцев (1996:157):

“При достаточно частом обращении к этому противопоставлению явно мало внимания уделялось отношениям, существующим между этими двумя подходами. Ведь для того чтобы производить ту или иную продукцию, необходимо располагать соответствующими средствами для создания продукции. И самым загадочным в современной лингвистике является то, что, занимаясь описанием единиц языка, их анализом и установлением правил их сочетания, она рассматривает их и как средства производства, и как производимый ими продукт. Получается заколдованный круг. Этот заколдованный круг возникает именно потому, что, признавая в теории связь языка с человеком, в исследовательской практике язык рассматривают как совершенно автономное образование, в результате чего остаются безответными вопросы о том, откуда берутся языковые средства производства (образующие и сам

язык), каков механизм их порождения и каковы их действительные “рабочие” потенции.”

И все же круг, о котором говорит В. А. Звегинцев, не является заколдованным. Он — необходимое и естественное следствие того факта, что язык есть когнитивная область взаимодействия живых организмов, а живой организм, в соответствии с автопойетической теорией (см. 4-ю главу), представляет собой систему с круговой организацией (Матурана 1996, 1978).

Как подчеркивал А. Р. Лурия (1998:69), в онтогенезе на ранних этапах развития “слово вплетено в ситуацию, жест, мимику, интонацию и только при этих условиях приобретает свою предметную отнесенность”. Эту мысль дальше развивает Б. Гаспаров (1996:9 и сл):

“Все то, что можно принять — и что лингвистика склонна слишком легко и охотно принимать — за стабильные языковые объекты, то есть все те “конечные продукты” языковой деятельности, которые говорящий производит сам и которые он получает от других говорящих, являются таковыми лишь при самом поверхностном рассмотрении. Всякий такой “продукт” не существует для говорящего иначе как в среде ассоциаций, интеллектуальных и эмоциональных реакций, произвольных воспоминаний, интуитивных и сознательных оценок ситуации и партнера и вытекающих из этого антиципаций того, как ситуация общения с ним будет разворачиваться в дальнейшем и какие новые коммуникативные задачи из этого вытекают. Свойства такого продукта (реплики диалога, устного высказывания, письменного текста), то, каким он является данному говорящему в данной ситуации, — неотделимы от бесконечно текучей среды многонаправленных мыслительных языковых действий, в которую наш “продукт” погружается и течение которой он, в свою очередь, изменяет самым фактом своего погружения. Всякий акт употребления языка — будь то произведение высокой ценности или мимолетная реплика

в разговоре — представляет собой частицу непрерывно движущегося потока человеческого опыта.”

Язык — это продукт нашего взаимодействия с окружающим миром (Heine 1997:150; Кубрякова 1999б). Это значит, что концепт “Человек” можно рассматривать как суперконцепт всей концептосферы языка (см. Убийко 1999).

На порочность подхода, при котором язык наделяется свойством автономности, указывал Б. Рассел (1997:74) в своей известной работе “Человеческое познание, его сфера и границы”: “Некоторые философы... предпочитают приписывать языку качество автономности и стараются забыть, что язык предназначен относиться к фактам и облегчить связь с окружающей действительностью”.

Насколько оправданным представляется такой подход к языку, при котором вопрос о его происхождении снимается с повестки дня? С моей точки зрения — совсем неоправданным, потому что в этом случае остается место для всякого рода спекуляций, от сугубо материалистических (в духе известной работы Ф. Энгельса), до откровенно идеалистических и даже богословско-мистических, в качестве отправной точки берущих ново-заветный постулат: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог” (Ио., 1,1).

Из современных примеров последнего рода можно привести концепцию поэтической теории языка (не путать с автопойетической теорией Матураны-Варелы — см. Maturana, Varela 1980), в соответствии с которой “поэтическое происхождение означает, что язык был выражением бытия в мыслезвуке, т. е. творчеством, иначе говоря, со-творчеством Бога, сотворившего бытие как Слово” (Гучинская 1997:109). Продолжая эту мысль, мы можем прийти на помощь Соссюру в плане подтверждения того, что в определенный момент осуществилось распределение

понятий по акустическим образам (знаменовавшее, собственно, возникновение языка) — но не в результате общественного договора, а в результате засвидетельствованного Библией наречения первым человеком всех живых существ по произволу Божьему (Быт., 2, 19-20); а поскольку Бог создал человека по своему образу и подобию, можно рассматривать акт наречения Адамом живых существ как опосредованное проявление того же Логоса (сиречь Божественного начала).

На сегодняшний день подавляющее большинство ученых, занимающихся проблемой происхождения языка, придерживается эволюционной теории его возникновения и развития (см напр. Bickerton 1981, 1990, Pinker 1995a, Hurford et al. 1998, Loritz 1999, Jackendoff 1999 *inter alia*). Такой подход подразумевает, что языковая способность рассматривается как биологическое свойство живого организма (человека), возникшее и развившееся в процессе адаптивной деятельности, а потому являющееся адаптивной функцией.

Перед эволюционной теорией языка стоят два главных вопроса: 1) Как возник язык? и 2) Почему язык развился только у человека? Очевидно, что ответив на второй вопрос, мы автоматически получим ответ и на первый, поэтому основные усилия эволюционистов направлены на то, чтобы идентифицировать уникальную особенность человека как вида, послужившую толчком к возникновению языка. На роль такой особенности претендовали способность к изготовлению орудий, общественный разум (интеллект), способность к обману и т. п. Однако ни одна из них не является исключительной прерогативой человека, поэтому различные предлагаемые сценарии эволюционного развития языка остаются неудовлетворительными.

Это объясняется тем, что сторонники эволюционной теории языка продолжают, за редким исключением, оставаться в

плени тривиального определения языковой функции как коммуникации, упуская из виду, что коммуникация есть вид когнитивной деятельности. Суть этой деятельности состоит в адаптивном взаимодействии с окружающим миром как потенциально бесконечным континуумом. Человек как биологический вид — часть этого континуума, поэтому адаптивное взаимодействие человека с миром есть кругообразный процесс: взаимодействуя с себе подобными существами как частью мира, человек влияет на их поведение, меняя, тем самым, структуру мира и образующие эту структуру каузальные связи. Это, в свою очередь, влияет на его собственное поведение, так как необходимо учитывать все время возникающие изменения среды, и так до бесконечности.

Взаимодействие с себе подобными преследует две цели: модифицировать их поведение так, чтобы изменившийся в результате этого мир обеспечивал лучшие условия адаптации к среде, и модифицировать свое поведение, опираясь на интерпретацию поведения других, усиливая свою адаптивную способность. Собственно говоря, в этом и состоит функция коммуникации как деятельности: “Коммуникация — это делание чего-то или производство чего-то, доступного чувственному восприятию, с намерением привести другое существо к выводу, основанному на интерпретации” (Keller 1998:x). Это небольшой, но очень существенный нюанс, влияющий, в конечном итоге, на выводы того или иного теоретического построения.

Так, например, Э. Карстэрс-Маккарти в книге под многообещающим названием “Происхождение сложного языка. Исследование эволюционных начал предложений, слогов и истины” (Carstairs-McCarthy 1999) начинает с определения характерных особенностей человеческого языка, объяснив которые, можно объяснить и все остальное. Таких особенностей три: 1) объем словаря, 2) дуализм языковых выражений, проявляющийся в двух

уровнях анализа (элементы, не имеющие значения, т. е. звуки, и элементы, имеющие значение, т. е. слова и словосочетания), 3) различие между предложениями и именными группами (номинализациями). Такая отправная точка исследования сразу наводит на определенные мысли.

Во-первых, задается структурно-логическая парадигма исследования в духе Хоккета-Хомского, что сразу настораживает — ведь речь идет об эволюционном (биологическом) развитии естественного объекта (человека говорящего, *homo loquens*).

Во-вторых, большой объем словаря, характерный для человеческого языка, подается как нечто удивительное, ибо “биологическое требование, чтобы наш словарь был небольшим по объему и ограниченным по содержанию, имело бы двоякое преимущество ... высвобождения емкостей мозга для других целей, нежели чем запоминание слов, и ускорения овладения словарем в детстве. Поэтому большой объем словаря человеческих языков представляет серьезную проблему в изучении эволюции языка” (Carstairs-McCarthy 1999:12).

Посылка насчет “биологического требования” (очевидный реверанс в сторону Хомского) вне всякого сомнения является ложной — именно потому, что неверно (или неточно) понимается функция языка. Язык предназначен “для связи с действительностью”. Эта связь осуществляется в процессе взаимодействия человека со средой, в которой он существует. Действительность же бесконечна и многообразна. И если большой объем словаря вызывает удивление, то точно так же мы должны удивляться количеству мышц, костей в скелете, или внутренних органов человека. В процессе эволюции (по крайней мере, в дарвиновском толковании) организм формируется под воздействием среды, к которой он должен постоянно приспосабливаться, так как среда изменчива. Чем больше количество факторов среды,

“учитываемых” организмом, тем выше его адаптивная способность, поэтому большой объем словаря — естественное явление, обусловленное языковой (когнитивной) функцией.

В-третьих, различие между предложениями и номинализациями может служить отличительной чертой человеческого языка в том случае, если в коммуникативных системах, которыми пользуются другие биологические виды, это различие не представлено, т. е. в них есть либо предложения, либо номинализации. В противном случае, мы с таким же успехом можем говорить о том, что отличительной чертой, например, рыб (по сравнению с млекопитающими), является различие между хвостовым плавником, с одной стороны, и спинным и боковыми плавниками, с другой.

Но как видится Карстэрсу-Маккарти эволюция языка? Общая схема анализа, которую он предлагает, сводится к следующему:

(а) синтаксис есть конституирующее свойство языка как коммуникативной системы,

(б) структура предложения повторяет структурную модель слога,

(в) структурная модель слога имеет фонологическую основу (различная степень сонорности гласных и согласных звуков),

(г) способность производить качественно различные звуки определяется расположением ларингальной полости, которое изменилось с переходом человека к прямохождению как нормальному способу передвижения,

(д) язык возник благодаря тому, что человек “встал” на ноги.

На первый взгляд, такая схема подкупает своей кажущейся простотой, но это только на первый взгляд, при этом взгляд не лингвиста “вообще”, а взгляд структуралиста-генеративиста,

возвращенного на идеях Хомского. Этот взгляд страдает двумя врожденными дефектами: синхронный подход к анализу языка (синтаксиса) и экстраполяция данных такого анализа, примененного к современному английскому языку (языку, тяготеющему к аналитическому типу), на языки других типов (например, синтетические типа русского) и на естественный язык вообще.

Как известно, принципы генеративной (трансформационной) грамматики работают более или менее хорошо (на мой взгляд, скорее менее, чем более) применительно к английскому языку в его *современном состоянии*, но я сомневаюсь, что эти принципы будут работать так же хорошо применительно к языку древнеанглийского периода, равно как и к другим языкам с хорошо развитой флективной морфологией типа латыни, древнегреческого, старославянского или современных русского или финского. Например, синтаксическим структурам русского языка вовсе не свойственна жесткость, характерная для синтаксиса английского языка и являющаяся краеугольным камнем в генеративистских построениях и выкладках. Ср.:

- а. Иван нашел книгу в саду
- б. Иван нашел в саду книгу
- г. Иван книгу нашел в саду
- д. Иван книгу в саду нашел
- е. В саду Иван нашел книгу
- ж. В саду нашел Иван книгу
- з. В саду Иван книгу нашел и т. д.

Легко видеть, что попытки вывести структуру русского простого асертивного предложения из структурной модели слога заранее обречены на неудачу. отождествлять же одну из фаз в историческом развитии отдельного языка с общими принципами

устройства естественного языка как глобального когнитивного феномена, значит заведомо становится на методологически ошибочные позиции, закрывая глаза на действительное положение дел. Вообще говоря, разработать теорию структуры предложений не значит объяснить способность говорящего производить и понимать эти предложения, а потому “хорошая теория структуры предложения еще не является хорошей теорией языковой компетенции” (Devitt, Sterelny 1999).

Другим соображением, по которому предложенная Карстэрсом-Маккарти эволюционная модель развития языка представляется малоубедительной, является то, что характерное для человека расположение ларинкса связывается с прямохождением на чисто гипотетических основаниях (по принципу “раз есть отличие, то оно должно быть чем-то вызвано”). В частности, согласно современным эволюционистским представлениям, “выпрямление” гоминидов, знаменовавшее переход в эволюционную стадию *homo erectus*, изменило пространственную ориентацию передней части тела (где расположены органы звукопроизводства) с горизонтальной на вертикальную, что и повлекло, якобы, опущение ларинкса вниз, сопровождаемое рядом других изменений физиолого-анатомического характера. В этой связи на ум сразу приходят примеры других биологических видов, например, жирафов, у которых соответствующая часть тела в норме имеет вертикальную ориентацию, хотя это и не связано с “двуножием” как предпосылкой к прямохождению, или страусов, которые являются классическим примером двуногих существ. Однако вряд ли кто-нибудь всерьез задается вопросом, почему жирафы или страусы до сих пор не заговорили.

Наконец, сама методология генеративизма с ее логически ориентированными принципами исключает сколько-нибудь продуктивное обсуждение проблемы языковой эволюции.

Например, сам Хомский не раз подчеркивал бесперспективность попыток объяснения феномена Универсальной Грамматики (УГ) в терминах естественного отбора (Chomsky 1972, 1975, 1982). Возможно, в чем-то Хомский здесь прав, и я не берусь доказывать противное, предоставив это другим (см. Newmeyer 1998). Но эволюционный подход к языку, по крайней мере имплицитно, предполагает биологичность языковой системы (ведь язык — важнейшая функционально-отличительная особенность вида *homo sapiens*), тогда как Хомский придерживается прямо противоположного мнения.

Так, он считает, что обнаруживающееся в некоторых случаях дублирование принципов УГ есть не что иное, как избыточность, обусловленная применением неверных принципов систематизации, и надо стремиться ее избегать. Биологические системы, напротив, характеризуются высокой степенью избыточности по причинам, имеющим простое функциональное объяснение: “Избыточность обеспечивает защиту от повреждений и может способствовать преодолению проблем, имеющих вычислительную (computational) природу. Почему язык должен так сильно отличаться от других биологических систем — проблема, и может даже тайна” (Chomsky 1991:50). Хомского здесь опять подводит то, что я называю “зашоривающим эффектом родного языка” (в данном случае современного английского, почти полностью утратившего флективную морфологию). Например, в русском языке действующие грамматические принципы подразумевают избыточность, при этом нередко избыточность многократную. Ср.:

Он подошел к двери.

В этом примере пространственные отношения, лежащие в основе пропозиции, характеризуются одновременно тремя разными способами: лексически (глагол направленного движения *подошел*), морфологически (падежная форма сущ. *дверь*) и синтаксически (направительный предлог *к*). Избыточно маркирован и пол деятеля: лексически (местоимение м.р. *он*) и грамматически (глагольная основа прош. вр. м.р. в форме *подошел*). Таким образом, языку свойственна защитная избыточность точно так же, как и другим биологическим системам. Но вернемся к проблеме происхождения языка.

Несмотря на существующую обширную литературу, представляется, что наука в сегодняшнем ее состоянии разрешить эту проблему пока не в силах, поскольку индуктивный метод здесь явно недостаточен, а дедуктивный — не применим в полной мере. Это не означает, что от поисков ответа на этот вопрос надо отказаться — напротив, усилия ученых должны быть направлены на то, чтобы общий объем эмпирического знания, накопленного о различных знаковых системах, предоставил достаточно надежную основу для формулирования частного вывода (т. е. о возможном происхождении естественного языка), отталкиваясь от общих положений о характере и закономерностях семиозиса как объективного процесса. Другими словами, познание языка в этом направлении должно отталкиваться от метода аналогии, которая отличается от индукции тем, что вывод по аналогии, когда он выходит за пределы опыта, не может быть проверен. Поэтому мы вынуждены “или признать аналогю — в ее выходящем за пределы опыта значении — в качестве независимой от чего-либо другого предпосылки научного познания, или же должны найти какой-либо другой, столь же эффективный принцип” (Рассел 1997:208). Однако до сих пор такого эффективного принципа, альтернативного аналогии, не найдено, и вероятность этого оста-

ется сомнительной, ибо, как подчеркивает Ж.-Ф. Ришар (1998:70), “понимать — это рассуждать по аналогии с известной ситуацией”, и большая часть наших знаний о мире представляет собой результат именно такого понимания.

1.2. В поисках пути

Проблема современной науки о языке заключается в том, что не сформулирован ее *идеальный проект*, т. е. не определены ответы на вопросы о том, что нужно изучать, и почему ценностью считается изучение именно “этого”, а не чего-либо иного. Нельзя не согласиться с Р. М. Фрумкиной (1999:37) в том, что лингвисты такого проекта, в общем и целом, не имеют, пребывая пока на ступени осознания его необходимости.

Перед современной “лингвистикой как когнитивно ориентированной наукой” ставятся в настоящее время три главных проблемы: о природе языкового знания, о его усвоении и, наконец, о том, как его используют” (Кубрякова 1997б:150). Поэтому лингвистика, если она не на словах, а на деле хочет быть научной дисциплиной, в задачи которой входит достижение понимания (фундаментальный аспект) и обеспечение объяснения (прикладной аспект) особенностей своего объекта, должна, в первую очередь, сосредоточиться на следующих проблемах: а) виды и типы знаков (семиотика), б) виды и типы знаний, представленных в этих знаках (гносеология), и механизм извлечения из знаков этих знаний, т. е. правила интерпретации (когнитивная семантика и прагматика — а, следовательно, и синтактика), в) условия возникновения и развития знаков (семиотический онтогенез) и принципы, регулирующие их функционирование (се-

миозис). Решение любой из этих проблем в отрыве от других невозможно в принципе, так как в каждом случае центральным фактором, определяющим специфику того или иного круга явлений, является человек. "... В обход человека язык изучать нельзя. Все исследовательские координаты должны перекрещиваться на человеке. А это, в свою очередь, значит, что язык следует изучать в контексте и во взаимодействии со всеми другими видами физической и психической деятельности человека, так как человек — целостное "устройство" (Звегинцев 1996:29).

Все это, несомненно, так. И все-таки, главный вопрос, вопрос о ценности изучения всех перечисленных аспектов языка как предмета научного исследования, по-прежнему незаметно "уходит" в сторону. Зачем человеку нужно выражать значения, обрабатывать информацию и передавать знания, и почему это делается посредством языка, а не каким-то другим способом? В чем метафизическая суть языка как эмпирического объекта, неразрывно связанного с другим выделяемым объектом, а именно, человеком? И можно ли понять один, не поняв другого? Ответ по крайней мере на последний вопрос представляется очевидным.

Вместе с тем, было бы не совсем правомерно противопоставлять новый подход к языку, определяемый как антропоцентрический, т. е. ориентированный, главным образом, на человека в его отношении к языку и отображаемой в нем действительности, традиционным воззрениям на язык (в духе Соссюра) как на самодостаточную знаковую систему, изучение которой ограничивается изучением соответствующих единиц и структур в их отношении к миру. Принцип неавтономности языковой системы, сформулированный еще Аристотелем, но затем на долгое время благополучно забытый, сегодня заставляет исследователя искать точки сопряжения между двумя подходами к языку, ибо так же, как нельзя сомневаться в том, что язык антропоцентричен

и антропоморфен по своей природе, нельзя сомневаться и в том, что он по-прежнему продолжает оставаться системой — но не замкнутым автономным образованием, а интегрированной частью среды, в которой живет и действует человек; поэтому изучение языка с целью понять его устройство и функционирование (т. е. одна из основных задач лингвистики) естественным образом должно иметь эпистемологическую ориентацию (Maturana 1978).

В последние годы заметно выросло внимание, уделяемое когнитивным аспектам языка, механизмам формирования значения, связанным с познавательной (в широком смысле) деятельностью человека — и это естественно, ибо значение и знание в онтологии обнаруживают неразрывную связь (см. Chomsky 1987, 1991, Langacker 1991, Heine 1997, Koenig 1998, Fox, Jurafsky, Michaelis 1999, Кубрякова 1999б, Рахилина 2000, Nikanne, van de Zee 2000, Talmy 2000). Важную роль при этом играет изучение того, как именно человек воспринимает и концептуализирует действительность (Neisser 1987, Craig 1990, Lycan 1990, Margolis, Laurence 1999), какие факторы объективного и субъективного порядка имеют определяющее значение в формировании картины мира определенным этносом (см. ЛАЯ 1999).

Поскольку язык является знаковой системой, постольку разные типы знаков, будучи членами единой репрезентативной системы, с необходимостью отражают определенные аспекты концептуальной картины мира, или знание о мире. Это знание является составной частью значения единиц, образующих собственно систему языка — лексикон и грамматику. "В языке, в его лексических и грамматических значениях, в той или иной степени фиксируются результаты человеческого познания" (Панфилов 1977:12). Другими словами, отталкиваясь только от внутрилингвистических факторов, трудно, а порой и просто невозможно

объяснить особенности формирования и функционирования языковых структур. Этим объясняется настоящая (и уже осознанная, а отчасти и реализованная) необходимость расширения пределов лингвистики, с выходом на большое количество смежных (по признаку общности объекта — человека в его целостности, образуемой разными ипостасями) дисциплин, составляющих комплекс гуманитарных наук.

Осознание того, что язык, как бы этого ни хотелось приверженцам структуралистского направления, не является автономной системой, рассматриваемой в самой себе и для себя, выдвинуло на повестку дня вопрос, который, в общем-то, не является новым, но системно и последовательно до недавнего времени не изучался. Речь идет о соотношении таких понятий, как “познание” (и, соответственно, приобретенное в его результате “знание”), “опыт”, служащий эмпирической основой познания, и “среда” (шире — “мир”), в которой существует человек и в которой осуществляется познание на основе приобретения опыта мира. Язык при этом “есть средство превращения нашего личного опыта в опыт внешний и общественный” (Рассел 1997:71)¹.

Каждое из названных понятий и отраженная в нем часть действительности сами по себе давно служили объектом изучения в философии и лингвистике, психологии и социологии, антропологии и культурологии, математике и кибернетике, нейрофизиологии и целом ряде других наук, однако лишь сейчас все отчетливее начинает проступать существующая между ними органическая взаимосвязь, и проступать именно через свою языковую данность, через свое языковое воплощение. “Языковое

¹ Об аналогичном делении концептов на индивидуальные и общие см. (Powell 1998).

знание, не осознаваемое говорящими, предопределяет сочетаемость единиц языка в речи и проявляется в этой сочетаемости. Как выражающее не только мировоззрение, но и мироощущение, оно плохо поддается логической обработке. Базируется языковое знание на уходящих в глубь веков и формирующих коллективное бессознательное представлениях, которым противоречит рациональное знание и которые обнаруживаются во вторичных предикатах” (Чернейко 1997:185). Таким образом, получается, что нельзя проникнуть в скрытую от внешнего наблюдения, т. е. не являющуюся эмпирической данностью, суть познавательных процессов, с одной стороны, так же как нельзя дать более или менее исчерпывающие ответы на главные вопросы языкознания (а также и комплекса наук о человеке в целом) вне рассмотрения принципов, схем и законов, регулирующих и определяющих познавательную деятельность человека, с другой стороны. И это не случайно, ибо язык развился из животной когниции, а не из животной коммуникации (Ulbaek 1998:33). Понимание этого означает, в частности, что “путь к осмыслению феномена человека лежит не столько через естественные науки, сколько через естественные языки” (Арутюнова 1999:6).

Ребенок усваивает родной язык в самые первые годы своей жизни — но не раз и навсегда: переезд в другую страну в детском возрасте очень быстро ведет к смене одного родного языка (по праву места рождения) на другой, родной же язык (но уже по праву способа мышления). В то же время смена языковой среды для взрослого человека очень редко сопровождается вытеснением родного языка другим. Почему это происходит? Если язык не является чем-то, данным человеку от рождения, если человек осваивает язык, научаясь правильно им пользоваться, как он осваивает основные законы физики посредством эмпирического опыта, то что мешает ребенку, попавшему в другую языковую

среду, просто освоить еще один, новый для него язык, сохранив при этом знание родного языка? И почему взрослый человек, оказавшийся в таких же условиях и усваивая новый язык, сохраняет знание родного?

Очевидно, что процесс усвоения языка тесным образом связан с процессом формирования человеческого сознания и отложения в мнемонических структурах определенного объема опыта, порождаемого взаимодействием со средой, частью которой является язык (см. Лурия 1998). Эти процессы протекают параллельно, будучи одновременно неотделимы один от другого (Bloom 2000). Более того, К. Хахлвег (1996:192) считает, что человеческий язык должен рассматриваться в качестве эквивалента генотипа: "Все веры и верования, рациональные и иррациональные, содержатся в генофонде высказываний, разделяемом научным сообществом. <...> Функция генов состоит в том, чтобы хранить информацию и передавать ее следующим поколениям. Аналогично функция языка — передавать информацию от одного индивида к другому".

Знание, как продукт познавательной (сознательной) деятельности, материализуется в языке. Человеческий опыт — в широком смысле — включает в себя взаимодействие с миром и воздействие на мир, неотъемлемой частью которого является язык; поэтому, когда мы говорим об "опыте мира", мы подразумеваем и "опыт языка", который сам по себе является средой, вне которой немислимо существование человека. Не случайно еще Аристотель, а после него и многие другие философы в своих поисках истины уделяли значительное внимание языку (см. напр. Brentano 1988, Гадамер 1988, Grondin 1994). "Язык окружает наше бытие как сплошная среда, вне которой и без участия которой ничто не может произойти в нашей жизни" (Гаспаров 1996:5).

В этой связи все больший акцент делается на деятельностной природе языка, когда язык определяется как продукт, возникающий в процессе *совместной деятельности* (Clark 1996), регулируемой не столько каким-то набором задаваемых правил, сколько очень гибкими принципами и стратегиями языкового выбора из широкого и нестабильного круга меняющихся возможностей (Verschuere 1999) — в отличие от подхода к языку как продукту применения правил, характерному для генеративной грамматики Н. Хомского и его последователей (из последних неохомскианских публикаций см. Jenkins 2000).

В качестве центральной темы в когнитологии все чаще выступает круг вопросов, связанных с установлением зависимостей и соотношений в когнитивной цепочке "разум (сознание) — язык — репрезентация — концептуализация — категоризация — восприятие". Это ведет к смыканию когнитивной лингвистики с когнитивной психологией, эпистемологией и теорией сознания. Формируется новая парадигма знания, в основе которой лежит определение языка как когнитивного процесса, осуществляемого в коммуникативной деятельности и обеспечиваемого особыми когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу (Кубрякова 1999а:24).

Растет число публикаций, посвященных влиянию опыта на процессы восприятия, категоризации и концептуализации. В частности, отмечается влияние предшествующего знания на принятие категоризационных решений (Palmeri, Blalock 2000, Gelman, Bloom 2000) и на овладение новыми концептами (Lamberts, Shanks 1997, Nelson et al. 2000, Matan, Carey 2001), подчеркивается зависимость значения от восприятия (Allwood, Gärdenfors 1999) и восприятия от категоризации (Schyns 1997), а также влияние опыта среды на узнавание объектов и категоризацию (Wallis, Bülthoff 1999) и т. п.

“У каждого свои особенности в представлении мира, обусловленные и физиологическими особенностями организма, и генетической информацией, и жизненным опытом, — всеми теми факторами, которые обуславливают индивидуальность каждого из нас” (Лебедева 1999:139). Различия в опыте ведут к различиям в знании, а через них — к разным картинам мира. Следовательно, изучение языковой картины мира должно отталкиваться от установления типов знания, представленного в языке, источников и способов представления этого знания в языковых формах (см. напр. СПЗЯ 1994), т. е. необходимо детальное изучение законов и механизмов языковой категоризации. Изучение этих механизмов предполагает обращение к процессу познания действительности как основе осознанной деятельности человека. Учитывая все это, проблема значения языкового знака видится в аспекте его способности быть средством фиксации, хранения и передачи знания, а потому семиотика не может обойтись без гносеологии и наоборот.

Таким образом, если мы действительно хотим понять язык, мы должны все время помнить, что наш путь познания должен пролегать по кругу “ЯЗЫК $\Rightarrow$ СРЕДА $\Rightarrow$ ОПЫТ $\Rightarrow$ ПОЗНАНИЕ $\Rightarrow$ ЗНАНИЕ $\Rightarrow$ ЯЗЫК”. Несколько шагов по этому пути я и предлагаю сделать, предложив читателю очерк когнитивной философии языка как естественной семиотической системы. Я надеюсь показать убедительные преимущества этой теории по сравнению с другими (некогнитивными) теориями, поскольку она в полной мере отвечает стандартным критериям оценки адекватности теории, сформулированным Т. Куном (1996): точность, непротиворечивость, область приложения, простота и плодотворность.

Глава 2.

СЕМИОТИКА И ЕЕ ОБЪЕКТ

2.1 Философский и лингвистический аспекты семиотики

Тривиальность определения языка как системы знаков, образующих один из многих (наряду с другими знаковыми системами) объектов семиотики, не означает, что его семиотическая сущность изучена с достаточной полнотой. Это обусловлено рядом причин. Одной из них является то, что существуют разные подходы к определению того, что есть знак — соответственно, и по разному определяется сфера явлений, подлежащих изучению в рамках науки о знаках. Наличие разных подходов объясняется исторически обусловленной сменой научных парадигм, в рамках которых развивались взгляды на природу и сущность знака, и приверженность одной из них влияет на общую концептуальную перспективу теоретических построений, предлагаемых тем или иным исследователем.

На сегодняшний день можно говорить о двух основных подходах к определению предмета семиотики — широком и узком (Есо 1984). Первый уходит корнями в классическую традицию, рассматривавшую в качестве знака любой объект или явление, способный устанавливать определенную связь с чем-то отсутствующим, недоступным восприятию. Современное продолжение эта традиция нашла в работах американского философа Ч. С. Пирса, идеи которого получили дальнейшее развитие у Р. Карнапа и Ч. У. Морриса и отразились в современном фило-

софском определении знака как материальной сущности (явления), выступающей представителем другой материальной сущности в силу связывающего их отношения, устанавливаемого на основе опыта.

По своему происхождению знаки могут быть как естественными (природными), так и искусственными, т. е. специально созданными для удовлетворения определенных потребностей. При таком подходе организованные ряды знаков, или знаковые системы, обнаруживаются повсюду: “в языке, математике, художественной литературе, в отдельном произведении литературы, в архитектуре, планировке квартиры, в организации семьи, в процессах подсознательного, в общении животных, в жизни растений” (Степанов 1983:5, см. Keller 1998), поэтому семиотика — это наука, “изучающая вещи и свойства вещей в их функции служить знаками” (Моррис 1983:38).

Узкое определение семиотики связано с ограничительным толкованием знака, заданным сентенциональной парадигмой, у истоков которой стоял Блаженный Августин, а до него еще Аристотель. В соответствии с этим толкованием, знаком считается лишь искусственная материальная сущность, намеренно созданная для целей коммуникации. Принято считать, что типичным, наиболее ярким представителем такого знака является знак языковой, характеризующийся конвенциональностью и интенциональностью, т. е. знак по своей природе социален (Соссюр 1977:54). Однако если интенциональность как тривиальное свойство языкового знака нет нужды доказывать, то конвенциональность, как одно из его существенных свойств, не является очевидным эмпирически верифицируемым фактом. Отличие звукового человеческого языка от любой другой искусственно созданной знаковой системы состоит в том, что время и условия его появления не могут быть определены на достаточно серьезных

научных основаниях (т. е. вне богословско-мистической религиозной парадигмы). В той мере, в какой эмпирический опыт многих поколений лингвистов и философов позволяет делать не противоречащие здравому смыслу утверждения о природе языка, звуковой язык — не более искусственное образование, чем окружающий человека природный ландшафт, он — “естественный объект по онтологической природе своих элементов” (Волков 1966:12). Собственно говоря, такое понимание эксплицитно выражено в самом определении человеческого языка как *естественного*, т. е. как части среды, окружающей человека с момента его рождения и до самой смерти.

Таким образом, в центре внимания семиотики стоит естественный человеческий язык, и, как естественное образование, он “служит универсальной семиотической матрицей, на которой можно вторично построить практически неограниченное число самых разнообразных знаковых или информационных систем” (Панов 1980:87). Такого рода системы (в частности, различные искусственные языки — от азбуки Морзе и эсперанто до в высшей степени формализованных языков логики или математике) и составляют объект семиотики, приобретающей в этом случае чисто лингвистический характер. По мнению Е. Пельца (1983:142), роль семиотики состоит в построении ключевых понятий и формулировании фундаментальных проблем, стоящих перед теорией языка и знаков. У. Эко вообще уравнивает общую семиотику с философией языка, подчеркивая, что “хорошие” философии языка, от *Кратила* Платона до *Философских исследований* Витгенштейна, занимаются всеми семиотическими вопросами (Есо 1984:4).

Ограничение объекта семиотики лингвистическими знаками связывают с введенным в лингвистический оборот Соссюром понятием семиологии, определявшим науку, изучающую жизнь

знаков в рамках жизни общества (Соссюр 1977:54). Вот это-то ограничение и послужило другой причиной недостаточной изученности семиотической сущности языка, поскольку, благодаря широкому распространению структуралистских взглядов, изложенных Соссюром в его женевских лекциях по общей лингвистике, в науке о языке (по крайней мере, в Европе) утвердилось понимание знаков как “материализованных субститутов (заместителей) абстракций и эмоций, этих сложных психофизиологических процессов мозга” (Волков 1966:15). К этому пониманию восходит распространенное определение языкового знака как материально-идеальной сущности, т. е. двусторонней единицы языка, произвольным образом связывающей означаемое (мыслительное содержание) и означающее (акустико-артикуляционную структуру).

Различные подходы к предмету семиотики как науки довольно мирно уживались до недавнего времени, т. е. до тех пор, пока языкознание – по крайней мере та его часть, которая ответственна за формирование новой исследовательской парадигмы, получившей название *когнитивной лингвистики* – не стало явственно ощущать тесноту одежд, накинутах на него структурализмом. Достижения в различных отраслях науки, ориентированной на изучение места человека в мире, особенностей его деятельностного существования (известных под собирательным названием как “*когнитивная наука*”), полученные во второй половине 20 в., определили выход за пределы соссюровских “чистых значимостей”, формируемых исключительно внутрисистемными отношениями. Тем самым оказался под вопросом один из главных постулатов структурализма – о произвольности языкового знака, на которой настаивал Соссюр:

“Язык устойчив не только потому, что он привязан к косной массе коллектива, но и вследствие того, что он существует во времени. Эти два факта неотделимы. Связь с прошлым ежеминутно препятствует свободе выбора. Мы говорим человек и собака, потому что и до нас говорили человек и собака. Это не препятствует тому, что во всем явлении в целом всегда налицо связь между двумя противоречивыми факторами – произвольным соглашением, в силу которого выбор означающего свободен, и временем, благодаря которому этот выбор оказывается жестко определенным. Именно потому, что знак произволен, он не знает другого закона, кроме закона традиции, и, наоборот, он может быть произвольным только потому, что опирается на традицию” (Соссюр 1977:107).

В этом рассуждении кроется существенное внутреннее противоречие, обусловленное главным исходным принципом структурализма – принципом автономности и самодостаточности языка как знаковой системы. Дело в том, что для человека, нормальным (естественным) путем усвоившего язык, между означаемым и означающим всегда есть естественная связь точно так же, как естественной представляется ему связь дыма с огнем – именно потому, что звучащие языковые знаки как элементы бытийной среды человека принципиально ничем не отличаются от других материальных элементов этой среды: связь между означаемым и означающим человек постигает точно таким же путем, как и связь между огнем и дымом, т. е. через опыт.

Вот что писал по этому поводу видный польский лингвист В. Дорошевский:

“В семантическом содержании каждого слова заключены элементы ситуаций, в которых мы употребляли это слово или встречались с его употреблением. Эти элементы, связанные с воспоминаниями ситуаций, определяют идиоматический характер слов каждого языка, а идиоматичность – это неразрывная связь со средой, поэтому все формы проецирования языка за

пределы среды, выделения его для получения более отчетливых контуров исследуемого предмета основаны на *принципиальном теоретическом заблуждении* (курсив мой. - А.К.) (Дорошевский 1973:102).

Поэтому, если отвлечься от проблемы происхождения естественного языка, принцип произвольности языкового знака оказывается чисто умозрительным допущением (см. напр. Bolinger 1949).

Особое внимание соотношению понятий “произвольный” и “конвенциональный” применительно к знаковой концепции Соссюра уделяет Р. Келлер в своей “Теории языковых знаков”. Он указывает, что соссюровская характеристика знаков в целом страдает внутренней противоречивостью:

“если предполагается, что произвольный знак, по определению, немотивирован, выбор означающего для обозначаемого не может быть “абсолютно произвольным”. В конечном итоге, выбор мотивированного выражения предполагается невозможным. Аналогичным образом, теория, что знак произволен поскольку он конвенционален, несовместима с теорией, что произвольный означает “немотивированный”. Ничто не мешает языковому сообществу сделать употребление мотивированного знака конвенциональным” (Keller 1998:133).

Действительно, конвенциональность и произвольность — не одно и то же, хотя они и связаны в том смысле, что конвенциональность подразумевает произвольность. Тот или иной тип поведения не может быть охарактеризован как конвенциональный, если он не произволен, т. е. если он не является одной из возможных альтернатив (см. Lewis 1969). Конечно, здесь сразу возникает вопрос: какие (если они есть вообще) альтернативы в употреблении языкового знака позволяют говорить о его произвольности? Согласно Келлеру, “значение языкового знака есть его употребление”, т. е. чтобы языковой знак был знаком (т. е.

чтобы он имел значение), он должен быть употреблен языковым сообществом определенным образом. Употребление знака есть вид поведения, и если это поведение характерно для сообщества в целом, то оно конвенционально. Это подразумевает, что имеется по крайней мере одна альтернатива некоторому данному употреблению знака, т. е. возможно другое употребление знака, хотя знак, не будучи употреблен, не может рассматриваться как таковой и потому знаком не является. Как видим, не только соссюровская концепция знака страдает противоречивостью, не смог ее избежать и Р. Келлер.

Для того, чтобы яснее представлять себе сложившуюся в современной лингвистике ситуацию вокруг языкового знака, имеет смысл проследить, откуда берет свое начало концепция о произвольном, немотивированном характере языкового знака. Сделаем небольшой исторический экскурс в историю развития и становления семиотики, опираясь на известные работы У. Эко (Eco 1984) и Д. Кларка (D. Clarke 1987).

2.2 Этапы становления семиотики как науки

2.2.1 Классическая традиция

Со времен Гиппократы и Парменида (5 в. до н.э.) до римских философов Цицерона (1 в. до н. э.) и Квинтилиана, т. е. в классический период, греческое слово *semeion* “знак” употреблялось в значении свидетельства, доказательства или признака того, что по крайней мере временно отсутствует или недоступно взору. Типичными примерами были дым как знак огня, тучи как знак

(для моряка) надвигающегося шторма, горящее лицо как знак (для врача) горячки и т. п. — во всех подобных случаях имеется естественный объект или событие, непосредственно наблюдаемое вместо другого объекта или события, которые недоступны наблюдению. Наблюдатель (и, соответственно, интерпретатор) знака назывался *semeiotikos*, и для классических философов в этой роли выступал главным образом врач, стремящийся распознать скрытый недуг, чтобы излечить его. Так, для Гиппократы смысл диагноза состоял в том, чтобы обнаружить знаки, означающие не только настоящее, но и прошедшее и будущее.

Позднее о трех временных направлениях (векторах) знака писал Квинтилиан, указывая, что вывод о значении знака может идти от результата к предшествующей причине (например, рождение женщиной ребенка есть следствие половых сношений в прошлом), либо от наблюдаемой в настоящем причины к результату в будущем (тяжелая рана и следующая за ней возможная смерть). В противоположность этому волны, например, являются знаком одновременно существующего ветра, румянец на лице — знаком горячки и т. д.

По традиции, идущей от Аристотеля (4 в. до н. э.), классические авторы различали также между неопровержимыми знаками и опровержимыми или вероятностными знаками — последние не гарантируют наличия того, что они означают. Так, если у женщины есть молоко, то это неопровержимый знак того, что она недавно родила ребенка. Наоборот, учащенное дыхание, часто сопровождающее горячку, не обязательно означает болезненное состояние.

Наиболее значительным вопросом, стоявшим в центре дискуссии между стоиками и эпикурейцами, был вопрос статуса знака как такового. Стоики придерживались точки зрения, в соответствии с которой знак означает пропозицию, описывающую

наблюдаемый факт. В противоположность им, эпикурейцы считали, что знак есть чувственный элемент, объект прямого наблюдения, а не пропозиция, выражаемая в умозаключении. В этом смысле позиция эпикурейцев более прогрессивна с точки зрения формирования общей теории знаков, включающей и язык.

Связь между знаками в понимании классических философов и умозаключениями дедуктивного характера можно проиллюстрировать критикой Секста Эмпирика (3 в.), направленной против стоиков в связи с их идеей разграничения указательных знаков и ассоциативных (“памятных”) знаков. Указательные знаки означают ненаблюдаемое (напр., интерпретация пота как указания на невидимые поры в коже), тогда как ассоциативные знаки означают наблюдаемое, то, что характеризуется наличием связи в прошлом опыте между знаком и тем, что он означает (дым и огонь, шрам и рана и т. п.). По Сексту, только ассоциативное может рассматриваться как знак, ибо знак должен обладать способностью быть интерпретированным единообразно всеми, кто его наблюдает, в то время как указательные знаки стоиков могут иметь множество различных интерпретаций. Он допускал лишь обобщения, сделанные индуктивно на основе наблюдений как посылок объяснения. Наличие дыма может быть объяснено огнем потому, что мы наблюдали в прошлом связь между тем и другим. Стоики, напротив, допускали также теоретические объяснения явлений, в которых фигурировало ненаблюдаемое.

У ранних классиков понятие знака не включало слова либо предложения (лингвистические знаки). У Парменида даже встречается противопоставление знаков (*semeia*), как надежных указателей своих означаемых, словам (*opota*) как произвольно выбранным именам, вводящим различия там, где их нет в реальном мире. Лишь после Бл. Августина (4-5 вв.) и последовавшей за

ним логической традиции средневековья языковые знаки становятся предметом рассмотрения семиотики.

Необходимо, однако, отметить, что Аристотель включал словесные выражения в класс знаков наряду с естественными явлениями типа дыма, шрама и т. д.: “То, что в звуко сочетаниях, – это знаки представлений в душе, а письма – знаки того, что в звуко сочетаниях” (Аристотель 1978:93).

В общем и целом для классического периода характерно полагание в основу знаковой парадигмы медицинского симптома естественного явления, служащего свидетельством того, что им означает. Знак мог означать нечто в настоящем, прошлом или будущем, и как необходимый знак мог подтверждать существование этого другого предмета или события, либо в – качестве опровержимого знака – представлять его как более или менее вероятный. Произнесенные и написанные слова именовались “символами” и противопоставлялись знакам, хотя, как предполагает одна из возможных интерпретаций Аристотеля, они были подобны знакам, если могли выступать в качестве свидетельств ментальных состояний тех, кто эти слова производил.

2.2.2 Блаженный Августин и его последователи

В средние века латинское *signum* “знак” (перевод греческого *semeion*) приобрело более широкий смысл, включавший как природные явления, так и языковые выражения; они различались как естественные и конвенциональные знаки. Последние привлекали все большее и большее внимание и в конце концов стали основной знаковой парадигмы.

Большую роль в таком фундаментальном изменении подхода к знаку сыграл Бл. Августин. Приняв взгляд эпикурейцев на знак как чувственную данность, означающую то, что в текущий момент недоступно чувствам, он выделяет два типа знаков – естественные (*signa naturalia*) и данные, произведенные (*signa data*). Естественные знаки – это знаки, которые, по словам Августина, без какого-либо намерения или желания означить заставляют осознать нечто, кроющееся за ними, подобно тому, как дым означает огонь. Напротив, произведенные знаки намеренно создаются для целей коммуникации. Эти знаки не обязательно конвенциональны в смысле подчинения некоему правилу, установленному языковым сообществом: так, находясь в чужой стране, мы можем обратиться к человеку, не говорящему на нашем языке, посредством жеста, который будет произведенным знаком, но вряд ли – конвенциональным. Августин характеризует произведенные знаки как знаки, данные не в природе, но произвольно установленные и принятые по соглашению. Это уже характеристика так называемых “конвенциональных знаков”, и это различие в дальнейшем сыграло существенную роль в развитии учения о знаках.

С именем Бл. Августина связывают также второе важнейшее нововведение, которое заключалось в том, что он продолжил до логического конца аристотелеву аналогию между отношением написанных слов к произнесенным и произнесенных слов к ментальным состояниям говорящего. По мнению Августина, необходимо признать, что так же, как произнесенные слова являются коррелятами написанных слов, ментальные слова являются ментальными коррелятами произнесенных слов. Ментальное слово или представление – это то, что является общим для всех людей, но для передачи его другому разуму говорящий должен прибегнуть к произвольно выбранному конвенциональному слову,

свойственному его языковому сообществу. Если отождествить эти ментальные слова с ментальными состояниями говорящего, то очевидно, что произнесенные слова не будут означать или свидетельствовать об этих ментальных состояниях. Скорее, они будут означать то, что делают ментальные слова, а именно, означать как эквивалентные общественные переводы частных знаков.

Продолжая линию Августина, английский философ Уильям Оккам (14 в.) основное внимание уделял языковым выражениям и отношению между ними и мыслями или представлениями, которые они выражают. Это, в частности, привело его к коренной ревизии деления знаков на естественные и конвенциональные. В соответствии со взглядами Оккама, само ментальное представление и выполняет функцию естественного означивания: "Концепт... естественным образом означает то, что он означает". Он однозначно отвергает точку зрения, в соответствии с которой произнесенное слово употребляется вместо или означает ментальный концепт. Напротив, оно означает те же самые независимые объекты, которые означает концепт или "ментальное слово".

Таким образом, по Оккаму, существует второй тип естественного знака, — ментальное слово, о котором говорил Августин, а поскольку внимание все больше сосредоточивалось на языковых знаках, главное различие по линии "естественный — конвенциональный" пролегло между ментальными словами и произнесенными и написанными словами, посредством которых первые становятся общественным достоянием.

Сдвиг фокуса в сторону языка привел к тому, что в трудах Томаса Гоббса и Джона Локка (17 в.) употребление термина "знак" ограничено сферой языковых выражений и их ментальных коррелятов. По Гоббсу, знаки могут быть как личными, так и общими (= общественными). Личные знаки есть "метки" (*notae*), т. е. августиновы ментальные слова, которые позволяют нам

"запоминать наши собственные мысли". Общие знаки есть "знаки, посредством которых мы позволяем другим узнать наши мысли". Другими словами, различие между метками и знаками состоит в том, что мы производим первые для нашего собственного пользования, а вторые — для использования другими. Оба типа знаков, личные и общие, входят в сферу той области философии, которую позднее Дж. Локк назовет "семиотикой" (в отличие от "физики" и "практики"), задачей которой является рассмотрение природы знаков, "которыми ум пользуется для понимания вещей или для передачи своего знания другим" (Локк 1960:695). В этом употреблении термин "знак" практически не имеет ничего общего со значением термина *semeion* в классический период, когда из понятия знака исключалось как раз то, что теперь только и рассматривается как знак. Отметим здесь, что Локк уравнивал логику с семиотикой, поскольку наиболее обычные знаки — это слова, т. е. по Локку, логика — учение о природе словесных знаков. Современное понимание логики как науки об общезначимых формах рационального мышления существенно отличается от локковского, поэтому применение аналитического аппарата современной логики к языку как знаковой системе не дает убедительных результатов в части *понимания природы значения* — но об этом мы поговорим позже.

После Декарта термин "естественный знак" продолжал употребляться в значении, подразумевавшем связь с более ранними классическими явными (*evidential*) знаками, хотя при этом он подвергся значительной модификации и расширению. Например, французский логик 17 в. Антуан Арно проводит традиционное различие между естественными и конвенциональными знаками, но у него естественные знаки находятся в иконическом или изобразительном отношении к тому, что они обозначают, и отличаются от конвенциональных наличием при-

чинно-следственной связи со своими объектами (например, зеркальное отражение предмета). Но принцип зеркального отражения, на основе которого устанавливается связь между образом и предметом, работает только при наличии особых условий, и в этом понимание естественного знака у Арно отличается от классического понимания явных знаков. Карты и картинки, по Арно, также являются знаками, но поскольку они не находятся в причинно-следственной связи со своими означаемыми, а зависят от "человеческой прихоти", они, очевидно, должны подпадать под рубрику конвенциональных знаков, которая, таким образом, расширяется и выходит за пределы Августиновой парадигмы языковых выражений.

Понятие естественного знака расширилось еще больше, когда сами ощущения стали рассматриваться как естественные знаки объектов, их вызывающих – другими словами, произошло слияние ментального аспекта знака по Августину и Оккаму с иконическим аспектом знака по Арно. Такой подход наиболее четко представлен в трудах шотландского философа 18 в. Томаса Рида, который выделял три категории естественных знаков. В первую категорию входили явные знаки стоиков, связь которых с обозначаемыми вещами имеет естественный характер, но обнаруживается только благодаря опыту. Но если классический явный знак в типичном случае был следствием причины, интерпретация знака, по Риду, носит предсказательный характер, так как "то, что мы называем естественными причинами, можно было бы более точно назвать *естественными знаками*, а то, что мы называем следствиями – вещами обозначаемыми".

Во вторую категорию Рид включает знаки человеческих мыслей, целей и желаний, которые являются частью "естественного языка человечества", предшествующего становлению "искусственного языка". К знакам этого естественного

языка относятся модуляции голоса, жесты и мимика. Наконец, в третью категорию Рид включал знаки, значение которых определяется не через предшествующий опыт связей этих знаков с другими сущностями, а с помощью врожденного механизма, помогающего понять, что является обозначаемым знаком. Сюда относятся ощущения как знаки внешних объектов, связь которых с осознанием и верой в существование внешних по отношению к человеку проявлений не может быть результатом привычки, опыта, образования или любого другого принципа человеческой природы, признаваемого философами.

Позднее между представителями реалистического и идеалистического направлений развернулась дискуссия по поводу статуса естественных знаков. Реалисты признавали существование знаков третьей категории, хотя и расходились относительно того, что эти знаки обозначают. Одни, включая Риду, считали, что ощущения суть знаки всего лишь чистого бытия объектов, тогда как другие полагали, что они отражают определенные стороны этих объектов. Идеалисты, такие, как Дж. Беркли и, в какой-то степени, Д. Юм, напротив, признавали существование знаков лишь первой категории. Они считали, что мы воспринимаем не объекты, а лишь ощущения, при этом ощущение типа ощущения звука движущегося экипажа является знаком экипажа лишь в том смысле, что в предшествующем опыте между звуком и видом экипажа была установлена связь. Таким образом, для Беркли – "строго и по правде говоря – ничто не может быть *услышано* кроме как звук; и таким образом экипаж не воспринимается чувствами, а подсказывается опытом" (цит по: Clarke 1987:24). Ощущения являются не столько знаками объектов, сколько знаками других ощущений, с которыми они были ранее соотнесены.

Итак, к началу 19 в. Бл. Августин и его последователи оставили обширное наследство из естественных знаков, которые на

разных основаниях противопоставлялись так называемым “конвенциональным” знакам. Благодаря Августину, сказанные и написанные слова как базовые элементы, из которых строятся предложения, стали парадигматическими знаками. Однако по мере того, как росло количество разновидностей естественных знаков, становилось все труднее выделить те общие признаки, на основании которых можно было бы использовать один и тот же термин “знак” как применительно к естественным знакам, так и применительно к знакам, используемым в человеческом общении.

2.2.3 Пирс и Соссюр

Дальнейшее развитие семиотики проходило под влиянием идей двух выдающихся ученых – американского философа Ч. С. Пирса, которого считают основателем современной семиотики, и швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра. Суть воззрений Пирса на знаки состояла в том, что их природа и характер должны определяться в их непосредственном отношении к пользователю, в роли которого выступает “разум, способный к научению через опыт” (ср. с ролью, которую отводил опыту Беркли), при этом он полагал, что семиотика как отрасль логики и философии имеет целью выделение необходимых – в отличие от возможных – характеристик знаков, интерпретируемых существами, способными к научению. Таким образом, предел семиотики, по Пирсу, простирается далеко за область языковых знаков, используемых в человеческом общении.

Это нашло отражение в общем определении знака, в соответствии с которым знак есть нечто, выступающее для кого-то

(интерпретатора) в роли представителя чего-то (объекта) в силу некоторой особенности или свойства. Знак есть сущность, характеризующаяся тройственной связью между Репрезентаном (собственно знаковой формой), Объектом и *Интерпретантой* (т. е. предрасположенностью реагировать определенным образом под влиянием знака – см. Моррис 1964). Знаки бывают трех видов: иконы, индексы и символы:

“Икона есть знак, который сохраняет особенность, делающую его значимым, даже при несуществующем объекте; так, например, карандашная черта представляет геометрическую линию. Индекс есть знак, который сразу же теряет особенность, делающую его знаком, при исчезновении объекта, но не теряет этой особенности при удалении интерпретанты. Таковым, например, является кусок доски с отверстием от пули как знаком выстрела, ибо без выстрела не было бы отверстия; но отверстие есть независимо от того, в состоянии кто-нибудь связать его с выстрелом или нет. Символ есть знак, который утрачивает особенность, делающую его знаком, в отсутствие интерпретанты. Таковым является речевое высказывание, которое означает то, что оно означает, только лишь в силу того, что оно понимается как имеющее это значение” (Peirce 1960:170).

Как следует из этих определений, общая характеристика знака у Пирса распространяется и на традиционные естественные знаки, и на конвенциональные (языковые) знаки, при этом, как отмечает Д. Кларк (Clarke 1987), некоторые пассажи у Пирса позволяют считать, что в рассмотрении знаков тот ориентируется на сентенциональную (языковую) парадигму, что отражается в характеристиках двух из трех его основных категорий знаков – индексов и символов. С одной стороны, индексом является знак, который отсылает к обозначаемому им Объекту в силу того, что он реально зависит от этого Объекта (т. е. речь идет, в первую очередь, о естественных знаках); с другой стороны, “все, что вы-

зывает концентрацию внимания, есть индекс" (Peirce 1960:161), и это положение иллюстрируется примерами указательных местоимений в субъектной позиции в предложении, т. е. речь идет уже о конвенциональных знаках.

Аналогичное расхождение в подходах наблюдается и в том, как Пирс толкует символ. "Символ есть Репрезентамен, Репрезентативная особенность которого состоит как раз в том, что она есть правило, определяющее Интерпретанту. Все слова, предложения, книги и другие конвенциональные знаки суть символы" (Peirce 1960:165). Таким образом, слова (по крайней мере некоторые из них, и в первую очередь местоименные) оказываются одновременно и индексами, и символами. Более того, буквально через две страницы можно прочесть следующее:

"Символ есть знак, естественным образом приспособленный для объявления того, что группа объектов, обозначенная каким-то набором индексов, связанных с ней тем или иным образом, репрезентирована соотнесенной с ней иконой. Чтобы показать, что означает это сложное определение, возьмем в качестве примера символа слово "любит" (loveth). С этим словом соотносится представление, являющее собой ментальный образ одного человека, любящего другого. Далее мы должны помнить, что "любит" встречается в предложении – ибо вопрос состоит не в том, что оно [слово. - А.К.] может означать само по себе, если оно вообще что-нибудь означает. Возьмем теперь предложение, например, "Иезекииль любит Олдаму" (Ezekiel loveth Huldah). Иезекииль и Олдама должны, в таком случае, быть индексами или содержать их, ибо без индексов невозможно обозначить то, о чем говорится" (Peirce 1960:167).

Иначе говоря, выделив три основных категории знаков, Пирс одновременно признавал, что между ними нет жестких границ, так как индекс может быть символом, символ – индексом, а тот и другой – иконами. Кажущийся внешне противоречивым, этот тезис в истории развития лингвистики 20-го века сыграл

роль, которую до конца еще не осознали и по достоинству не оценили ни последователи Пирса, ни его критики. Подробнее об этом речь пойдет чуть позже.

Развитие идей Пирса было продолжено Ч. Моррисом в известном труде "Основания теории знаков", вышедшем в 1938 г. Так, обращаясь к вопросу о природе знака и рассматривая его *семиозис* (т. е. тот процесс, в котором нечто функционирует как знак), он указывает на необходимость включения в него, помимо выделявшихся Пирсом трех факторов – а именно, *знакового средства* (репрезентамена, по Пирсу), *десигната* (объекта) и *интерпретанты* – дополнительного четвертого фактора, в качестве которого выступает интерпретатор. Моррис подчеркивал, что

"термины "знак", "десигнат", "интерпретанта" и "интерпретатор" подразумевают друг друга, поскольку это просто способы указания на аспекты процесса семиозиса. Совсем не обязательно, чтобы на объекты указывалось с помощью знаков, но, если нет такой референции, нет и десигната; нечто есть знак только потому, что оно интерпретируется как знак чего-либо некоторым интерпретантом; [обобщенное] учтивание чего-либо является интерпретантой лишь постольку, поскольку оно вызывается чем-то, функционирующим в качестве знака; некоторый объект является интерпретатором только потому, что он опосредованно учитывает нечто. Свойства знака, десигната, интерпретатора или интерпретанты – это свойства реляционные, приобретаемые объектами в функциональном процессе семиозиса. Семиотика, следовательно, изучает не какой-то особый род объектов, а обычные объекты в той (и только в той) мере, в какой они участвуют в семиозисе" (Моррис 1983:40).

Другими словами, знаком может стать любой произвольный доступный восприятию объект – для этого достаточно, чтобы в сознании воспринимающего он был поставлен в определенные отношения с другими предметами (явлениями), включаясь в сеть

определенных ассоциаций (Дорошевский 1973:107). “Возникая в акте семиозиса, знаки приобретают в этом акте свое строение и свое внутреннее устройство – в зависимости от того, как они соотносят свое означаемое со своим означающим. Их дальнейшее функционирование тесно связано с тем, какому модусу этого соотношения они следуют – иконическому, индексальному или же символическому” (Кубрякова 1993:25).

В противоположность этому, другое направление в семиотике связано с изучением как раз особого рода объектов – языковых знаков. С легкой руки Соссюра наука о знаках в европейской (“семиологической”) традиции стала считать своим предметом все средства, используемые в человеческом обществе для целей коммуникации, включая как языковые выражения, так и неязыковые средства, такие, как жесты и сигналы в неязыковых кодах. При таком подходе семиология рассматривается как эмпирическая наука, подразделом которой является лингвистика, имеющая дело с языком как специальным средством человеческого общения. Соссюр исключил из семиологии традиционные естественные знаки и пирсовы индексы, равно как и знаки, используемые для общения низшими организмами.

Другое отличие от пирсовой семиотики состояло в том, что если у последнего она была “квази-необходимой наукой, изучающей свойства, которыми должны обладать знаки, используемые интерпретаторами, способными к научению через опыт”, то, по Соссюру, семиология замыкается на свойствах, которыми на деле обладают знаки, используемые в коммуникации. Важным моментом в концепции Соссюра является то, что “значимости целиком относительны, вследствие чего связь между понятием и звуком произвольна по самому своему существу.” Произвольность знака, по его словам, позволяет лучше понять, почему языковую систему может создать только социальная жизнь: “Для

установления значимостей необходим коллектив; существование их оправдывает только обычай и общее согласие; отдельный человек сам по себе не способен создать вообще ни одной значимости” (Соссюр 1977:145 и сл.). Как справедливо подчеркивал В. Дорошевский (1973:98), “такой подход характеризуется субъективизмом, который сужает поле зрения до интроспективно исследуемого языкового сознания, абстрагированного от внеязыкового фона”.

Основные направления соссюровской программы семиологии в общих чертах были приняты европейскими лингвистами, при этом необходимость исключения естественных знаков признавалась (да и сейчас признается) очень многими. Так, видный специалист в области лингвистической семантики М. В. Никитин пишет: “Нет достаточных оснований для того, чтобы в естественных связях и зависимостях вещей, явлений и событий усматривать знаковое отношение и приравнивать причины следствий или следствия причин к знакам. В понятие знака следует включить: первичные словесные и вторичные искусственные знаки, из числа знаков следует исключить признаки (симптомы, индексы)” (Никитин 1996:21 и сл.). Этот тезис получил дальнейшее развитие в статье этого же автора под примечательным названием “Предел семиотики”, где он критикует тенденцию современной науки о знаках к неоправданному экспансионизму (Никитин 1997).

На это указывает не он один – так, почти совпало по времени появление статьи на ту же тему С. В. Гринева (1997). Действительно, такая тенденция имеет место, и в гораздо более широких масштабах, когда даже самая человеческая культура в целом рассматривается как семиотический объект (см.: Язык в эпоху... 1996; Степанов 1997). Однако главный пафос упомянутой статьи не в этом: ее автор видит сложившееся положение вещей как

результат соблазна, в который семиотику ввел Пирс со своей теорией, основанной на выделении трех типов знаков – в результате “семиотика исследует в знаках то, что в них незнаково” (Никитин 1997:4). Насколько “грешен” был Пирс, и насколько “праведны” его критики?

2.3 Семиотика и современное языкознание

Основная масса трудов Ч. Пирса, создание которых приходится на конец 19-го – самое начало 20 вв., в том числе и разработанные им основы теории знаков (современной семиотики), стала известна широкой (европейской) научной общественности (как философской, так и лингвистической) много лет спустя после его смерти в 1914 г., лишь в 30-е годы, когда началось посмертное издание собрания его сочинений. Не могли многие из его идей найти широкого отклика и в сердцах его современников – по той простой причине, что он не имел постоянной работы на университетских кафедрах в Кембридже, Балтиморе или Бостоне, где он читал лекции непродолжительное время. Как выразился в 1962 г. Р. Якобсон, Пирс был “настолько великий, что ни в одном университете не нашлось для него места” (Якобсон 1983:102). Другими словами, многое было написано Пирсом “в стол”, который был открыт в то время, когда лингвистические знамена – по крайней мере в Европе – уже склонились в почтении перед Ф. де Соссюром, затем захватили в свои полотнища свежий ветер идей К. Бюлера и радостно затрепетали под напором систематики знаковых отношений Ч. Морриса.

Более того, как совершенно справедливо указывает С. В. Гринев (1997), отечественная научная общественность до сих пор недостаточно знакома с подлинными взглядами Пирса,

поскольку изданный на русском языке небольшой отрывок из работы “Элементы логики” не дает представления о предложенной Пирсом типологии знаков. Понадобилось по меньшей мере еще лет двадцать, прежде чем идеи Пирса относительно природы знаков и знаковых систем, особенно в той части, которая имеет непосредственное отношение к естественному языку, были осмыслены в такой степени, что медленно, но верно они вошли в лингвистический обиход, при этом наибольшую известность получила классификационная триада знаков “икона – индекс – символ” (см. напр. Castañeda 1989, 1990a, 1990b, Keller 1998). Учитывая это, вряд ли уместной представляется метафора “соблазна”, к которой прибегает М. В. Никитин, говоря о влиянии пирсовых идей на развитие общей теории знаков – тем более, что идеи эти оказали заметное влияние и на другую область языкознания, связанную с анализом формирования лингвистических категорий: “Выделение знаков-символов, знаков-икон и знаков-индексов внутри категории знаков знаменовало собой новый подход к пониманию организации категории” (Кубрякова 1997a:25).

Скорее, в соблазн семиотику ввел Ф. де Соссюр, который хотя и ушел из жизни на год раньше Пирса, но смог популяризовать свои идеи, чему немало способствовало издание Ш. Балли и А. Сеше в 1916 г. его “Курса общей лингвистики”, провозгласившего важнейшие постулаты структурной лингвистики, под знаком которой более или менее шло развитие европейского языкознания в середине 20-го столетия.

В последние годы заметно выросло внимание, уделяемое когнитивным аспектам языка, механизмам формирования значения, связанным с познавательной (в широком смысле) деятельностью человека – и это естественно, ибо значение и знание в онтологии обнаруживают неразрывную связь. Изучение механизмов

языковой категоризации (см. работы Э. Рош, М. Джонсона, Р. Лангакера, Д. Лакоффа, А. Вежбицкой, Д. Тэйлора, Л. Тальми, Н. Д. Арутюновой, Е. С. Кубряковой, Р. М. Фрумкиной, А. Кибрика и мн. др.) позволило создать солидное основание, на котором стала строиться принципиально новая лингвистическая парадигма, получившая название *когнитивной лингвистики*. Являясь составной, а, может, и важнейшей частью комплекса когнитивных наук (Fuchs 1999), когнитивная лингвистика ставит своей главной задачей исследование механизмов извлечения, хранения и передачи знаний посредством языка.

Система языковых знаний как компонент наивной модели мира только начинает изучаться. Предстоит переосмыслить многие теоретические положения традиционного языкознания, основываясь на новых данных когнитивной науки о характере механизмов взаимодействия человека с окружающим миром посредством языка. Важную роль при этом играет изучение того, как именно человек воспринимает и концептуализирует действительность, какие факторы объективного и субъективного порядка имеют определяющее значение в формировании картины мира определенным этносом.

Одной из центральных проблем следует признать “проблему зависимости строения и организации языка (как в его генезисе, так и в его реальном синхронном состоянии и функционировании) от общих принципов восприятия мира человеческим сознанием” (Кубрякова 1992:31). В этой связи формулируются и новые установочно-познавательные принципы языкознания, а именно: *экспансионизм, антропоцентризм, функционализм и экспланаторность*, обусловленные “новой реальностью” в народившейся языковедческой парадигме. Этой “новой реальностью” (“новой” не в экзистенциальном, а в методологическом смысле) являются ментальные образования (концепты), “составляющие категори-

альную основу всей человеческой деятельности, и прежде всего — языка” (Берестнев 1997). В этой связи экспансионизм семиотики следует рассматривать не как злой умысел тех, кто занимается теорией знаков, а, скорее, как объективно обусловленную закономерность (см. McGregor 1997).

Основные положения семиотики, разработанной Пирсом, вызвали негативную реакцию в основном со стороны тех, кто в изучении языка как знаковой системы ориентировался исключительно на сентенциональную парадигму. Однако зачастую критика эта носила декларативный характер, особенно со стороны ученых, придерживавшихся определенной мировоззренческой идеологии, обусловленной общественно-политической конъюнктурой. Так, А. Г. Волков в брошюре под названием “Язык как система знаков” прямо заявлял: “Несмотря на запоздалую известность и популярность в современной логике и лингвистике, семиотика Ч. Пирса не имеет ни строгого научного основания в определении самого знака, ни логического основания в классификации знаков, хотя она и принадлежит логике. И это вполне естественно, если учесть, что Ч. Пирс — основоположник философского прагматизма и его понятие истины определяется критерием здравого смысла” (Волков 1966:34). Поскольку философский прагматизм не совсем согласовывался с материалистическим (марксистско-ленинским) учением, он по определению не мог претендовать на истину, и уж тем более истину, основанную на критерии здравого смысла. Естественным образом сбрасывается со счетов и вклад в семиотику Ч. Морриса, универсальная семиотическая модель которого

“не имеет никакой ценности”, поскольку “он осуществил не анализ знаковых систем, а синтез знака и значения, т. е. свел в один объект различные по своей природе и функциям объекты, благодаря чему в его интерпретации в значении вообще (М) “растворились” действительность (прагматика), сознание (семантика)

и знаковые системы (синтактика). И если это вклад, то он в высшей степени незначителен в огромной литературе, посвященной символической теории познания" (там же, с. 37 и сл.).

Сейчас мало у кого вызывает сомнения тот факт, что природу знака нельзя постичь в отрыве от изучения природы значения, так же как проблема значения не может быть успешно решена в отрыве от природы знаковой сущности: и тот, и другое находятся в неразрывной связке, обусловленной главной функцией языка. Здесь уместно напомнить о главном законе семиотики, имеющем формулу "знак за знак" и впервые сформулированном Ч. Пирсом (хотя понимание этого принципа можно найти у Г. Лейбница, см. Gerhardt 1890): этим законом постулируется, что знак может быть интерпретируем другим знаком или цепочкой знаков и что только таким образом происходит развитие значения знака (см. Моррис 1983; Кубрякова 1993). Это значит, что семиотический процесс, в принципе, имеет круговую организацию – как и жизненный процесс (см. гл. 4). Однако чтобы понять это, лингвистике пришлось проделать сложный путь, на котором было немало ям и тупиков.

Скептицизм в отношении пирсовой классификации знаков высказывал В. З. Панфилов, считавший нецелесообразным рассматривать символы как разновидность знаков, или включать в знаки "так называемые иконические знаки": "В рамках гносеологической постановки вопроса *знак* (знаковость) противопоставляется образу, который в отличие от знака *сходен* с тем, что он отражает, *подобен* ему" (Панфилов 1977:46). Но если противопоставлять знак (символ?) образу (иконе?), необходимо отталиваться от функциональной предназначенности того и другого, которая, следовательно, должна принципиально различаться. Тем не менее, самый тривиальный пример – функциональное предназначение образов (икон) в русском православии как части куль-

туры – показывает их чисто знаковый (символический) характер, не говоря уже о прочно и повсеместно вошедших в жизнь современного общества различных знаковых системах (типа системы дорожных знаков), значительная часть которых представлена как раз иконическими знаками, т. е. имеет образный характер. Представляется, что противопоставление образа знаку у В. З. Панфилова основано на своего рода недоразумении, а именно, на отождествлении понятия "образ" (в смысле наглядного представления чего-либо, так как именно этот смысл обычно придается понятию иконичности) с понятием "концепт" в смысле "оперативной содержательной единицы сознания" (КСКТ 1996:90), хотя это онтологически разные сущности.

Одним из тех, кто по достоинству оценил вклад Ч. Пирса в науку о знаках, был Р. Якобсон, охарактеризовавший полувековую работу Пирса по созданию общих основ семиотики как имеющую эпохальное значение: "...Если бы работы Пирса не остались большей частью неопубликованными вплоть до тридцатых годов или если бы, по меньшей мере, его опубликованные работы были известны языковедам, они, несомненно, оказали бы ни с чем не сравнимое влияние на развитие лингвистической теории в мировом масштабе" (Якобсон 1962/1983:103). Одной из важнейших черт семиотической классификации Пирса Р. Якобсон считал "тонкое осознание того, что различие трех основных классов знаков – это лишь различие в относительной иерархии. В основе разделения знаков на иконические знаки, индексы и символы лежит не наличие или отсутствие подобия или смежности между означающим и означаемым, равно как и не исключительно фактический или исключительно условный, привычный характер связи между двумя составляющими, а *лишь преобладание одного из этих факторов над другими*" (курсив мой. - А.К.) (там же, с. 106).

Воззрения Соссюра на язык, особенно в той их части, которая имеет непосредственное отношение к пониманию языка как системы знаков, также подвергались неоднократной критике. Больше всего возражений – вполне оправданных и справедливых – вызывает его подход к языку как автономной сфере действительности, в соответствии с которым язык определяется как система знаков, а сами знаки трактуются как чисто дифференциальные отношения, обладающие значимостной ценностью. Такая концепция ведет к субъективному пониманию знака, поскольку “имманентная детерминация элементов, составляющих определенное целое, образующих определенную систему, возможна только в том случае, если система образует замкнутое целое, компоненты которого не имеют другой ценности, кроме той, что они входят в состав системы (являются элементами множества). С этим случаем мы имеем дело в классах чисел, но не в системах языковых знаков или даже в каких-либо других” (Дорошевский 1973:103). Весьма образно свое отношение к этой концепции выразил Б. Гаспаров (1996:12 и сл.):

“Картина языковой деятельности как обмена готовыми “знаками”, имеющими социально санкционированную ценность, – совсем как посетители толкучего рынка обмениваются известными полезными предметами (помидорами, вышитыми полотенцами, фарфоровыми слониками etc.), ценностные соотношения между которыми коллективно санкционированы толкучим сообществом, – такая картина, честно признаюсь, представляется мне до комизма нелепой.”

Разделяя скепсис Б. Гаспарова, отмечу, что “социально санкционированная ценность знаков”, участвующих в “обмене”, плохо согласуется с их сущностными характеристиками, важнейшей из которых является принципиальный синкретизм выделенных Пирсом категориальных типов знаков. В частности, увязывание процесса семиозиса с процессом формирования у чело-

века опыта мира вводит в интерпретативную модель знака переменную, обусловленную особенностями индивидуального восприятия и оценки соотношения знака с соответствующим фрагментом мира; другими словами, речь идет об индивидуальном опыте знака как основе всех возможных его интерпретаций, включая и “социально санкционированные”.

Собственно говоря, об этом писал еще Н. И. Жинкин в ряде своих работ. В частности, еще в самом начале 60-х годов он высказал, по существу, ту же мысль, которую развивает Б. Гаспаров, а именно, что в языковой памяти сохраняются не отдельные слова с конкретными значениями, а некоторые сопоставления слов, служащие своеобразными шаблонами – соответственно, при рассмотрении механизма передачи семантической информации лексическое значение должно определяться как переменная величина (Жинкин 1998:45). В другой, более поздней работе, описывая и анализируя случай семантической афазии у семилетнего ребенка, Жинкин приходит к эмпирическому выводу о связи понимания с наличием опыта связи тех или иных конкретных слов (там же, с. 63), т. е. того, что выше мною было названо “опытом знака”.

Опытная (экспериментальная) природа языка (а, соответственно, и языкового знака) как эмпирически подтверждаемый и все более признаваемый факт ставит под сомнение основополагающий принцип ряда доминирующих направлений в языкознании (особенно западном), а именно, порождающий принцип в организации того, что иногда называют “грамматикой говорящего”, с легкой руки Н. Хомского (Chomsky 1965) больше известной как “языковая компетенция”. Напротив, как показывают данные, накопленные представителями нового эмпирически ориентированного подхода к анализу языка (Data Oriented Parsing), “понимание языка и его производство основаны на репрезента-

циях конкретного прошлого языкового опыта, нежели чем на абстрактных грамматических правилах. ... В частности, это означает, что знание говорящего/слушающего не может быть истолковано как грамматика, но как статистическое собрание данных языкового опыта, которое слегка изменяется каждый раз, когда обрабатывается новое высказывание" (Bod 1998:xi). Как показывают эксперименты, и грамматические, и лексические значения, а также особенности функционирования единиц соответствующих уровней, усваиваются опытным путем (Tomasello, Brooks 1998, Tomasello 2000).

Такой подход к языку ставит во главу угла вопрос о том, что представляет собой языковой опыт, из чего он складывается, и как соотносится языковой опыт индивида с языковым опытом социума. Вместе с тем, поскольку основу всякого опыта составляет восприятие, непредвзятое изучение языка становится невозможным без учета особенностей перцептивных процессов. Как указывал в свое время Дж. Локк (1960:403), "будь мы в состоянии проследить слова до их источников, мы нашли бы, что названия, обозначающие вещи, не относящиеся к области наших чувств, во всех языках имели свое первое начало от чувственных идей".

Здесь необходимо отметить одно знаменательное совпадение. В то время, как в языкознании зарождается и начинает оформляться принципиально новый подход к языку, основанный на признании его опытной природы, в когнитивной науке – в частности, в той ее области, которая занимается проблемами восприятия – также намечается кардинальный поворот, связанный с формулированием М. Лейтоном (Leyton 1999) новых принципов восприятия. Отталкиваясь от справедливой, на мой взгляд, мысли о том, что современные подходы к определению и изучению восприятия основаны на идеях, с необходимостью исключаящих

выявление ключевых закономерностей, управляющих перцептуальной системой, он предлагает очерк новой теории восприятия, основанной на *теории памяти*. М. Лейтон приводит довольно убедительную аргументацию в пользу того, что восприятие, в принципе, есть форма памяти. Память же он определяет как физический объект, находящийся в настоящем наблюдателя и имеющий признаки, которые наблюдатель объясняет каузально (Leyton 1999:124). Другими словами, хотя эта мысль им не формулируется эксплицитно, фундаментом новой теории восприятия оказывается эмпирический опыт – ибо что еще, по большому счету, может служить надежным критерием в выявлении причинно-следственных (каузальных) связей?

Следует отметить, что сама идея онтологической связи каузации с восприятием (и, соответственно, опытом) давно является предметом обсуждения в философии (см. напр. Grice 1967, Strawson 1974, Goldman 1976, Searle 1983, Pendlebury 1987, 1990, 1994, Fales 1990, Прист 2000). Идея эта, как я постараюсь показать в дальнейшем, имеет важное значение в осмыслении языка как особой когнитивной области.

Совпадение во времени появления одинаково (с точки зрения основополагающего принципа) ориентированных подходов в двух, казалось бы, разных отраслях знания отнюдь не случайно, а продиктовано закономерным ходом развития научной мысли, направленной, в конечном итоге, на постижение основ бытия. Язык и восприятие как две взаимодействующие когнитивные системы как раз и составляют эту основу, теоретические рамки изучения которой были намечены У. Матураной в его "Биологии познания" (Матурана 1996) – но к этому мы еще вернемся.

Задаваясь вопросом о том, какое место занимает и какую роль играет семиотика в современном языкознании, необходимо признать, что после Морриса каких-либо серьезных заявок на

оригинальные идеи в этой области не было. Семиотика как учение о знаках продолжала трактоваться либо в широком смысле, и в этом случае язык как знаковая система оставался лишь частной областью приложения отдельных семиотических принципов (например, классификация языковых единиц в терминах пирсовой триады индекс - икона - символ); либо она рассматривалась исключительно в рамках сентенциональной парадигмы. И в том и в другом случае остается в стороне главный вопрос: какова природа знака и значения вообще, и языкового знака и языкового значения в частности? Без ответа на этот вопрос адекватное описание языковой функции в принципе невозможно.

Как ни стараются лингвисты и философы “прозреть” сущность языка как объективного (естественного) феномена, удовлетворительного объяснения ему они дать не могут, поскольку подходят к проблеме односторонне, рассматривая язык в каком-нибудь одном аспекте: либо как средство коммуникации (но что есть коммуникация и зачем она нужна? – ведь можно обойтись и без нее), либо как средство для представления и передачи знания (но что есть знание и зачем его нужно передавать?), либо как то и другое вместе. В любом случае, в центре внимания находилась проблема языкового значения, рассматривавшаяся под разными углами зрения, но всегда интроспективно.

В качестве примера можно привести семантические концепции Г. Фреге и Л. Витгенштейна. Именно вокруг их теорий значения сосредоточено обсуждение проблемы в 20 в. Фреге продолжил линию Аристотеля в подходе к понятию концепта, придерживаясь известного принципа *tertium non datur*, т. е. он считал, что концепт имеет четкие границы. Витгенштейн, наоборот, считал, что концепту изначально свойственны размытые границы. Это объяснялось тем, что Фреге придерживался репрезентативного понимания языковых знаков, тогда как Витген-

штейн исходил из инструментального понятия знака (в духе Платона).

В первом случае предметом дискуссии становится понятие репрезентации, в частности, вопрос о том, репрезентацией чего является языковой знак. Если он – репрезентация мысли, то что есть мысль (мыслительное содержание) и для чего (и кому) ее нужно репрезентировать? Если такая репрезентация необходима для установления связи между мыслью и миром, то в чем эта связь заключается, и какова ее функция? Поиск ответов на эти вопросы продолжается в рамках философии познания.

Во втором случае понимание знака как инструмента ставит вопрос о цели, достижению которой служит инструмент. Согласно Витгенштейну, если прибегнуть к его аналогии с игрой в шахматы, знаки – это фигуры в игре, которая называется “коммуникацией”, поскольку значение знака заключено в его употреблении. Но если коммуникация – игра, то какую цель преследуют участвующие в ней игроки (выиграть? – но что?), и свободны ли они в выборе: играть или не играть?

Рассмотрению того, что из себя представляет “коммуникативная игра” и какими правилами пользуются игроки, посвящена интересная работа Р. Келлера “Теория языковых знаков”, опубликованная в 1995 г. (английский перевод 1998 г.). Эта книга обладает многими достоинствами, но главным из них является концептуальная целостность: поставив задачу показать и доказать, что языковые знаки являются инструментами в осуществлении коммуникации, он последовательно и доступно проводит главную мысль, а именно, что “языковые знаки являются результатом коммуникативных усилий, а не их необходимым условием” (Keller 1998:88). Коммуникация же определяется как любое интенциональное поведение, оказывающее влияние на других с целью дать им понять – с помощью знаков (в самом

широком смысле слова) – то, к чему их хотят подвести, в надежде, что это знание может послужить достаточным основанием для того, чтобы адресат позволил повлиять на себя желаемым образом.

Как читатель увидит позднее, такое понимание коммуникации очень близко к определению коммуникации как вида когнитивного взаимодействия в автопойетической концепции Матураны-Варелы, и это очень важно отметить. Кроме того, Р. Келлер пытается – хотя, на мой взгляд, и не очень успешно – синтезировать два подхода к концепции знака, репрезентативный и инструментальный, опираясь на пирсову триаду “индекс - икона - символ” и его понятие интерпретанты, и это тоже примечательно. Вот что он пишет:

“Знаки... это ключи, которые говорящий “предоставляет” адресатам, делая для них возможным и подводя их к выводу о том, как именно говорящий намеревается на них повлиять. Знаки не являются ... вместилищами, используемыми для передачи идей из одной головы в другую. Знаки – это намеки более или менее определенного характера, приглашающие другое лицо сделать определенные выводы и обеспечивающие возможность для него прийти к этим выводам.

... Процесс прихода к таким выводам называется **интерпретацией**; цель этого процесса — **понимание**” (Keller 1998:90).

Такое понимание знака, хотя бы имплицитно, подразумевает его экпериенциальную природу, ибо любая интерпретация любого знака зависит от того, каким опытом обладает интерпретатор. Речь в данном случае идет, с одной стороны, об опыте мира, с которым интерпретатор взаимодействует и к которому он должен приспосабливаться на основе приобретенного в результате таких взаимодействий опыта, а с другой стороны, об опыте знака как эмпирического объекта, входящего в область когнитивных взаимодействий. В любом случае, такой метафизический подход к

знаку означает одно: решение проблемы языкового значения в рамках внутрисистемных отношений (в духе структурализма или генеративизма) невозможно.

И здесь необходимо отметить один, как мне представляется, существенный недостаток знаковой теории, предлагаемой Келлером. Он, забыв о собственном призыве к синтезу двух знаковых концепций, в конечном итоге категорично заявляет:

“Не имеет никакого смысла говорить о знаках, что они представляют что-то, даже с натяжкой или в метафорическом смысле. ... Мы не можем сказать, что знак представляет свое значение. Скорее, значение – это то, что позволяет использовать знак с целью референции к чему-либо. Знак сам по себе, когда им не пользуются, ничего не представляет вообще, так же как неиспользуемый хлыст не вызывает боли” (Keller 1998:101).

Конечно, хлыст, который не используется по назначению, не вызывает боли, но перестает ли он по этой причине быть хлыстом? И откуда, вообще говоря, мы знаем, что предмет, о котором идет речь – хлыст, а, скажем, не палка или прут? Что делает хлыст хлыстом? Ведь и палка, и прут могут быть использованы для причинения боли, но они не превращаются по этой причине в хлыст. Точно так же и знак не перестает быть знаком, даже если его не используют в данный момент как знак. Но он остается знаком для того, кто знает, что это именно знак, а не просто какой-то предмет, *из опыта*.

Экстремистская позиция, которую занимает Келлер в отношении инструментальной концепции знака, представляет, по сути, бихевиористскую концепцию языка в осовремененном виде, оставляя в стороне вопрос о причинах, стимулирующих то или иное языковое поведение, понимаемое как *знакоупотребление*. Для того, чтобы употребить нечто в роли инструмента, необходимо, чтобы это нечто обладало способностью вы-

полнять определенную функцию, необходимую для достижения поставленной цели. Сколько бы я ни старался вбить в стену гвоздь с помощью листа писчей бумаги, я не смогу этого сделать, поскольку лист бумаги как предмет имеет совершенно другую, заранее предопределенную функцию, не имеющую ничего общего с вбиванием гвоздя в стену. Я могу попытаться использовать знак не по назначению, но насколько высока вероятность того, что я достигну желаемого результата?

Конечно, значение – сущностное свойство знака, и единственный способ, которым мы узнаем действительное значение знака, состоит в опыте его употребления, но не употребления вообще, а употребления *по назначению*. Это ставит вопрос о назначении знака (*на-значении*, т. е. о значении, накладываемом на употребление), ибо нет смысла говорить о значении знака, если остается без ответа вопрос о его назначении. Этот вывод следует из посылки, что “значение знака есть его употребление”. Я могу иметь хлыст и быть очень далеким от конного спорта и всего, что связано с лошадьми, в действительности. То же самое можно сказать о любом предмете, являющемся объектом коллекционирования. Монеты в коллекции нумизмата не перестают быть монетами, хотя они и не используются по прямому назначению. Монетами их делает тот факт, что они в действительности использовались как денежные знаки, либо могут использоваться как таковые, если у обладателя коллекции возникнет такое желание. Иначе говоря, функциональная категоризация сущности возможна только через взаимодействие с ней как компонентом окружающего мира. *Значение возникает из взаимодействия с миром и имеет опытную природу.* Это важно помнить всякий раз, когда речь заходит о знаках, их природе и функции.

Глава 3.

СЕМИОЗИС КАК КОГНИТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

3.1 Откуда берутся знаки?

3.1.1 Знак как категория

Каждый раз, когда мы говорим: “Это значит (то-то и то-то)”, мы имплицитно апеллируем к понятию знака как некоторой сущности, позволяющей нам установить связь между ней и другой, отсутствующей сущностью. Эта связь есть значение, которым обладает знак. Если мы осознаем наличие такой связи, мы говорим: “Я знаю (то-то и то-то)”, или “Я знаю, что (то-то и то-то)”. Все эти слова (сущ. *знак*, *значение*, гл. *знать*, *значить*) имеют общий корень *зна-*, восходящий к и.-е. *g’no- (Черных 1994), который прослеживается в таких греческих словах, как *гнозис* “знание, познание” и его производных *гносеология* “учение о познании”, *агностицизм* “учение о непознаваемости бытия” и под. Понятно, поэтому, что природа значения как содержательной сущности знака (особенно языкового) является коренным вопросом не только для лингвистики, но и для различных философских теорий познания. Как справедливо указывал В. Вундт (1998:74), “вопросы, как возникает познание, каковы его источники, признаки его достоверности, границы его царства — все эти вопросы не могут быть разрешены ни одной специальной

наукой, потому что они касаются в известной степени всех специальных областей знания и предполагают комбинацию их разнообразных результатов.” Вместе с тем, эпистемолог, задающийся вопросом о том, что значит *знать* нечто, должен иметь некоторое представление о значении глагола *знать* — в противном случае выстраиваемое им теоретическое здание может оказаться всего лишь банальным замком на песке (см. Everitt, Fisher 1995).

По выражению В. Дорошевского (1973:201), “общая и главная задача языкознания состоит в изучении того, каким образом языковое сознание расчленяет действительность на отдельные”, т. е. в чем состоят и каким образом протекают процессы языковой категоризации. Здесь мы снова сталкиваемся с неразрывной связью между языком и познанием, поскольку понятие категоризации человеческого опыта является фундаментальным понятием в характеристике когнитивной деятельности. “Способность классифицировать явления, распределять их по разным группировкам и классам, разрядам и категориям свидетельствует о том, что в актах восприятия мира человек судит об идентичности одних объектов другим или же, напротив, об их различии. Категоризация воспринятого — это главный способ придать поступающей к человеку информации упорядоченный характер, как-то систематизировать и, главное, рассортировать увиденное, услышанное и т. п.” (Кубрякова 1997:25).

Трудности, с которыми столкнулась общая теория языкового значения во второй половине 20-го столетия, привели, среди прочего, к необходимости пересмотра традиционных воззрений на сущность и характер языковых категорий — в частности, классическую (логическую) традицию в учении о категориях, идущую от Аристотеля, заметно потеснила теория прототипов. В соответствии с классическим подходом, категории определяются в терминах совокупностей необходимых и достаточных призна-

ков, эти признаки бинарны (по принципу все или ничего), соответственно категории имеют четкие границы (сущность либо является членом категории, либо нет). Однако, как справедливо подчеркивает Ж.-Ф. Ришар (1998:18), “практически невозможно дать точное определение естественных категорий, выраженных в терминах свойств”.

Наоборот, в теории прототипов, становление и развитие которой было стимулировано идеями Л. Витгенштейна (1922) и экспериментальными исследованиями Э. Рош (Rosch 1973, 1977, 1999), категоризация сущностей связывается с выявлением их характеристик, которые не являются бинарными конструктами, а объединяются по принципу фамильного сходства¹. Эти характеристики могут быть функциональными (т. е. они имеют отношение к тому, как используется предмет), либо интеракционными (т. е. они имеют отношение к тому, как люди манипулируют этим предметом). В общем и целом, эти характеристики имеют отношение не к изначальным свойствам самого предмета, а к той роли, которую он играет в данной культуре: “категории, на которые мы делим природу — не в самой природе, они возникают исключительно из взаимодействия между природой и нами” (Bickerton 1990:53), поэтому прототипные категории отличаются гибкостью, не свойственной аристотелевым категориям, и могут пополняться за счет новых, ранее неизвестных данных (Barsalou 1987, Taylor 1989, Rips 1989, Geeraerts 1997).

В общих чертах категоризация есть процесс членения мира (универсума) на дискретные сущности и группы таких сущностей, что делает возможным свести безграничное разнообразие

¹ Смотри обзор литературы на эту тему в (Smith, Medin 1981).

мира до приемлемых (с точки зрения человека) пропорций. Направления категоризации могут быть различными — в зависимости от того, под какую рубрику опыта подводится явление, объект, процесс и т. п. (КСКТ 1996:42). Одним из результатов такой классификационной деятельности является, в частности, выявление в окружающем человека мире значимых и значащих сущностей, изучаемых в рамках общей теории знаков (семиотики), — и в этом смысле знак сам по себе уже есть категория как сущность, вычленяемая из универсума по определенному признаку, а именно, по его способности быть носителем информации (иметь содержание).

Языковые знаки, будучи категориями в онтологическом плане, в свою очередь сами служат целям категоризации, но уже языковой, посредством которой осуществляется знаковая репрезентация расчлененного мира. В этой связи языковую категоризацию можно назвать *категоризацией категоризации*, поскольку сущность, уже являясь категорией одного порядка (т. е. значимой сущностью), служит выражению категорий другого порядка, становясь значащей сущностью.

В качестве примера можно привести грамматические (морфологические) категории, конституируемые формальными оппозициями знаков общей природы. Так, каждый член, входящий в оппозицию к другому члену, выражает присущее ему как общее, так и частное категориальное значение при условии, что он рассматривается именно в формальном контексте данного типа противопоставления. Смена формального контекста противопоставления может привести к изменению приписываемого форме значения (что обычно описывается в терминах грамматической омонимии) точно так же, как изменение контекста приводит к возникновению либо исчезновению значимости как классифицирующего признака любой сущности. Именно по этой

причине непосредственное окружение знака в нефлексивных языках (типа английского) играет такую большую роль в интерпретации значения — да и во флексивных языках типа русского эту роль не следует недооценивать.

Но если отталкиваться от того, что значение грамматической категории конституируется регулярным соположением знаковых форм с определенным типом контекста, образуемого другими значащими сущностями, то, следовательно, формой, вмещающей в себя данное содержание (собственно категориальное значение) является не знак как таковой, а знаковое (точнее, межзнаковое) отношение, которое, тем самым, приобретает знаковый статус.

Однако, не следует забывать, что онтологическая категоризация сущности как знака есть результат установления (посредством опыта) регулярного характера отношения между скрытой и явной сущностями. Значит, в отношении грамматической категории можно сказать, что ее значение есть скрытая сущность, т. е. грамматическая категория есть вид знака. В этом положении кроется определенная таксономическая трудность, на которую указывал Ю. С. Степанов:

“Поскольку категории выступают как нечто высшее по отношению к формам данного языка, следовательно, как знаки знаков, метазнаки, они должны иметь наименования, так или иначе отличные от знаков данного языка. Поскольку же наименование происходит с помощью самого данного языка, категории неизбежно именуются словами этого языка. Это большое неудобство, способное привести к недоразумениям” (Степанов 1981:124 и сл.).

Из определения категории как знака вытекает ряд следствий, к важнейшим из которых относится то, что грамматическая категория может и должна характеризоваться как прототипически близкая одному из трех типов знаков — знаку-иконе, знаку-

индексу, знаку-символу. Так, типичными иконами являются определенные типы синтаксических конструкций (Langacker 1988, Smith 1994), типичными индексами — категории глагольного времени и вида (Кравченко 1992), типичными символами — категории падежа, рода и т. п. Знаковая природа грамматических категорий объясняет отсутствие между ними жестких границ и отмечаемую лингвистами близость некоторых категорий по принципу “фамильного сходства”. Осознание этого сыграло не последнюю роль в развитии теории семантического и функционально-семантического поля в языке.

Выше уже говорилось о том, что, определяя задачу семиотики как рассмотрение природы знаков, к помощи которых разум обращается для понимания вещей либо для передачи знания другим, Дж. Локк (1960) подметил две неразрывные стороны познавательного процесса, который, в общем и целом, и призван обслуживать язык, будучи знаковой системой. Это, во-первых, извлечение человеком знания из окружающего мира (“понимание вещей”), и, во-вторых, “передача знания” как содержательная суть всякого коммуникативного акта. Однако нельзя передать то, чего не имеешь, а чтобы иметь нечто, надо его сначала приобрести, да еще и сохранить, желательно в более или менее неизменном виде. Таким образом, современное понимание языка как знаковой системы, служащей для извлечения, хранения и передачи информации, не является новым, оно уходит корнями по меньшей мере в эмпиризм позднего средневековья. Но как происходит сохранение извлеченного знания, что выступает (или может выступать) в роли носителя знакового отношения?

3.1.2 Роль интерпретации в семиозисе

В соответствии с философским определением, знак — это чувственно воспринимаемый предмет (явление, действие), который выступает как представитель другого предмета, свойства или отношения (КФЭ 1994:166), т. е. знак указывает на что-то для кого-то. При этом важно помнить, что “знак всегда предполагает дополнительный и внешний ему самому акт логического соотнесения и указания на обозначаемое (не содержащееся во внешне видимой, слышимой и тому подобной пространственности знака)” (Мамардашвили 1996:155). Как подчеркивает Х. Патнем (1996а:213), “думать, что знаковое отношение *встроено в природу*, значит отдавать дань средневековому эссенциализму, идее о том, что по ту сторону существуют “самотождественные объекты” и “виды”. Осознание этого, в частности, привело к тому, что новый толчок в своем развитии получила герменевтика (Lafont 1999), совершив своеобразный переход из классической теории интерпретации текстов в *феноменологию существования*, т. е. науку о конструировании мира, о структуре бытия (см. труды Э. Гуссерля, В. Вундта, М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера, М. Бубера, Ю. Хабермаса). Это неудивительно, поскольку деятельность интерпретатора пронизывает всю нашу повседневную жизнь: “Для осознания того, что значит думать, понимать и действовать, нам необходимо признать роль интерпретации” (Виноград, Флорес 1996:185; см. тж. Патнем 1996б).

В гносеологическом плане, опираясь на гештальт-психологию К. Бюлера (Bühler 1934), знак можно определить как *холистическую бытийную сущность, наполняемую содержанием*

ем². Это содержание не есть имманентное свойство сущности. Растущее дерево не имеет содержания как холистическая сущность, поэтому оно не является знаковой формой. Нельзя спросить, знаком чего является дерево в лесу — оно просто есть дискретная сущность, выделенная из универсума. Ободранная кора — нарушение целостности дерева как сущности — втягивает дерево в систему отношений с внешними по отношению к нему сущностями, но отношения, существующие не сами по себе в физическом (объективном) мире и не зависящие от субъекта, а в сознании интерпретатора. Эти отношения и образуют содержание, усвоение которого человеком в прототипическом случае обусловлено опытом (по принципу «чем больше опыта, тем яснее содержание»).

Ободранная кора — знак (симптом), требующий интерпретации; интерпретаций может быть неопределенное количество, при этом знак-симптом не является носителем необходимой информации сам по себе, информативной значимостью его наделяет человек. Уровень информативной насыщенности и информативной определенности знака прямо пропорционален имеющемуся у интерпретатора опыту (напр., ободранная кора как след изюбря, медведя, бобра, топора — и, следовательно, человека — и т. п.). След зверя как сущность лишена интенциональности, но это все равно знак в той мере, в какой он способен выступать в виде формы, имеющей (точнее — приобретающей) определенное содержание (*со-держание*, т. е. наличие некоторой связи с иной сущностью, *со-держимым*). След топора уже может

² Ср. с точкой зрения Л. Аддиса, считающего, что естественный знак не может быть индивидуальным объектом, и таким образом он должен быть либо свойством, либо отношением (Addis 1989:34 и сл.).

быть интенциональным (т. е. он может быть знаком-сигналом), но его однозначная интерпретация доступна только субъекту интенции. След топора определенной формы и ориентации, составляемый членами сообщества людей (охотниками, геологами, лесорубами и т. п.) по соглашению — интенционален и конвенционален, но становится ли он символом в привычном понимании этого термина?

Общая интерпретация символа должна быть принципиально возможной независимо от специфического окружения сущности, выступающей в этой роли (т. е. от контекста). Другими словами, его содержание должно оставаться неизменным. Если обыватель видит след топора на дереве в городском саду — это для него всего лишь симптом, признак того, что здесь был (есть) человек с топором, и не более. Если след топора имеет не случайную форму, он может быть воспринят как сигнал неизвестного отправителя неизвестному же получателю с неизвестной целью, т. е. он категоризуется как знак, наполненный неизвестным содержанием — но именно потому, что интерпретатор располагает опытом, говорящим ему о возможном интенциональном характере сущности, категоризуемой в данном случае как знак (или о наличии интерпретанты, по Пирсу). Как справедливо указывал Б. Рассел, очень большая часть того, что мы, как нам кажется, воспринимаем, состоит из привычек, причиной которых является ранее приобретенный опыт (Рассел 1997:64).

Камень, лежащий у дороги, еще не знак, тогда как камень посреди дороги — уже знак, так как обладает содержанием благодаря имеющемуся в нашем распоряжении опыту. В частности, этот опыт может говорить нам, что дорога — это полоса земли, предназначенная для быстрого передвижения из пункта А в пункт Б; скорость такого передвижения находится в прямой зависимости от наличия физических препятствий, преодоление кото-

рых требует дополнительного времени — следовательно, в норме на дороге, по определению, не должно быть таких препятствий. Камень посреди дороги есть отклонение от нормы (т. е. сформированного на основе опыта ожидания определенного положения вещей), которое требует интерпретации.

Интерпретация, в свою очередь, также опирается на опыт, но уже не опыт материальной сущности под названием “дорога”, а опыт материальной сущности под названием “камень”. В соответствии с этим опытом, мы знаем, что камни — неодушевленные (тяжелые) предметы, не способные передвигаться самостоятельно. Если наблюдаемое положение вещей (камень на дороге) отличается от ожидаемого (ровная дорога), мы приходим к заключению, что имело место какое-то событие, в результате которого камень находится теперь там, где его быть не должно. Имеющийся в нашем распоряжении опыт подсказывает, что событие это могло иметь как естественную природу (например, землетрясение или осыпь, если поблизости есть горы), так и быть связанным с деятельностью человека. В свою очередь, эта деятельность могла быть как целенаправленной (т. е. камень специально был помещен кем-то на дорогу для создания препятствия движению), так и нецеленаправленной (в том смысле, что камень на дороге есть лишь случайный, сопутствующий результат — например, он упал с грузовика, перевозившего горную породу). Поэтому следующим шагом в процессе интерпретации будет опять-таки обращение к опыту, но уже не к опыту отдельных элементов среды (дорога, камень) в их отношении к другим отдельным элементам (пункты А и Б, гора, грузовик и т. п.), а к опыту самой среды, в которой существует интерпретатор. Соответственно, потенциально возможное количество интерпретаций в этом случае практически не ограничено. Рассмотрим лишь одну

возможную интерпретацию и те последствия, к которым она может привести.

Допустим, что у интерпретатора достаточно оснований исключить случайное появление камня на дороге (хотя поблизости есть горы, но район не сейсмичный, и от ближайшей горы до дороги такое расстояние, что даже свалившийся с нее сам по себе камень не смог бы сюда докатиться; не является эта дорога и трассой, по которой осуществляются промышленные перевозки). Следовательно, камень на дороге оказался не случайно: кто-то его поместил туда с целью создать препятствие для движения, руководствуясь очень сильным мотивом (ведь для того, чтобы это сделать, этому “кому-то” пришлось затратить немало усилий и средств). Если интерпретатор — пеший путник, для него это препятствием, строго говоря, не является, и он вряд ли соотнесет преследовавшуюся злоумышленником цель со своей особой. В результате ход мысли, вызванный необычным явлением, не повлияет каким-либо существенным образом на действия путника: он просто обойдет препятствие. Если же интерпретатор движется по дороге на транспортном средстве достаточно крупных размеров, не позволяющих ему совершить маневр и объехать камень, то он остановится, и цель, которую преследовал неизвестный (неизвестные), будет достигнута. Теперь интерпретатор должен решить, он ли является объектом, на который направлены действия злоумышленников, или в роли такого объекта выступает другое лицо (лица). Естественным образом, весь ход его последующих действий будет зависеть от того, как он сам ответит на этот вопрос. При положительном ответе, т. е. когда у интерпретатора имеются достаточные основания связать нахождение камня на дороге с чьим-то желанием воспрепятствовать именно его, интерпретатора, дальнейшему продвижению, опять намечается несколько возможных линий дальнейшей интерпретации — в зави-

симости от того, на каком транспортном средстве передвигается интерпретатор (легковой автомобиль, автобус, грузовик и т. п.), гражданское оно или военное (например, БМП или танк), сколько еще человек находится вместе с интерпретатором, и если их несколько, то представляют ли они собой случайную группу людей (например, пассажиры рейсового автобуса) или группу людей, объединенных единой целью, родом занятий, или по каким-то другим признакам. Реакция на препятствие (возможная последовательность действий, предпринимаемых на основе той или иной интерпретации) автолюбителя одиночки, проводящего отпуск в путешествии, естественным образом будет отличной от реакции водителя (пассажиров) автобуса, и тем более от реакции командира боевой машины пехоты или танка, следующего в район боевых действий.

Примеры подобного рода дают представление о типах знаков, наполняемых определенным содержанием исключительно с учетом непосредственного окружения сущности, выступающей в знаковой функции. Такие знаки, по Пирсу, суть индексы, т. е. их интерпретация невозможна без знания контекста, в котором они встречаются и/или употребляются. Отметим, что одна и та же сущность может выступать и как знак, и как не-знак, особенно если речь идет о натурфактах — здесь все зависит от меры опыта, которым владеет возможный интерпретатор. Так, все приведенные выше рассуждения по поводу ситуации с камнем на дороге имеют смысл только в том случае, если в роли интерпретатора выступает здоровый взрослый человек. Если же представить в этой роли маленького ребенка или человека, страдающего отклонениями в психике, предложенная цепочка возможных интерпретаций утратит всякий смысл.

Значение является своего рода способом закрепления опыта употребления данного предмета или знака в общественной прак-

тике (Шахнарович 1998:58). Чем больше вовлеченность той или иной сущности в сферу подручного опыта человека, тем больше у нее шансов выступать в роли знака, т. е. становиться формой, вмещающей некоторое содержание, обусловленное опытом интерпретатора. Неслучайно, поэтому, самое большое количество знаковых отношений обнаруживается в культурной среде как совокупности проявлений жизни, достижений и творчества народа или группы народов (прежде всего это касается, конечно же, литературы и искусства — см. Степанов 1983). Опытный человек — это, в первую очередь, человек, способный извлечь массив информации из окружающей ситуации, т. е. это человек, который видит знак там, где неопытный человек его не видит. Следовательно, *знаковость сущности есть функция, аргументом которой является опыт.*

Это важнейшее положение, к сожалению, практически не нашло отражения в лингвистической семиотике, в частности, в знаковой теории языка, хотя значение его для этой теории огромно. Как указывал Н. И. Жинкин (1998:76), “первоначально всякий знак (сигнал) бессмыслен. Осмысление бессмысленного происходит при коммуникации”. Это “осмысление бессмысленного” возможно лишь одним путем — опытным. “Коммуникация начинается с чувственного опыта и приводит к тому, что субъективность этого опыта снимается, преобразуясь в объективно значимое явление. Объективность определяется коммуникативными опытами множества людей и их прогнозами, часть которых при проверке оправдывается, а другая бракуется и забывается. Так возникает синтетический интеллектуальный опыт поколений, которым овладевает... каждый отдельный человек” (там же). Подробнее значение опыта в семиозисе будет рассмотрено в последующих главах.

Итак, любая сущность в принципе может выступать в знаковой функции, но при этом ее знаковость ограничена постольку, поскольку сфера проявления знаковой функции в каждом отдельном случае ограничена пространственно-временными параметрами ситуации, в которой эта сущность является интерпретатору. Ничто по своим внутренним свойствам не есть знак или знаковое средство, но может стать таковым, если, выступая посредником, "позволяет чему-либо учесть что-либо" (Моррис 1983:76).

Иначе говоря, сущность может быть носителем информации в конкретном месте в конкретное время для конкретного интерпретатора, но при изменении этих параметров ее способность служить знаком может исчезнуть. Следовательно, для того, чтобы можно было не только сохранить информацию по возможности в неизменном виде, но и сделать ее доступной любому интерпретатору в любом месте в любое время, необходимо, чтобы сущность, выступающая в роли знака, имела неизменную интерпретанту, т. е. вызывала у разных интерпретаторов одни и те же ассоциации независимо от времени и места своего явления. Для этого само бытие такой сущности в идеале не должно находиться в какой-либо зависимости от пространства и времени в том смысле, что между формой и содержанием должно сохраняться постоянное однозначное соответствие. Такое соответствие (с условной степенью допущения) находим в знаках естественного языка и построенных на его основе различных искусственных языковых кодах.

3.2 Естественные и конвенциональные знаки

Выше (гл. 1) уже шла речь о спорах в среде ученых, исследующих знаки и образуемые ими системы, относительно разной природы различных видов знаков, определяемых как *естественные* и *конвенциональные*. Естественные знаки суть симптомы, признаки, индексы скрытых (неявных) сущностей, категоризуемые в качестве таковых на основе опыта³. Основное отличие естественных знаков от конвенциональных заключается в том, что они есть элементы естественной (природной) среды, т. е. их существование не зависит от человека и его созидательной деятельности. Другими словами, естественным знаком называется "любой предмет восприятия (объект перцепции), который может стать для нас исходным пунктом вывода о существовании определенного предмета, находящегося в причинной связи с данным предметом восприятия" (Дорошевский 1973:95). Примерами типичных естественных знаков могут служить уже упоминавшиеся дым (как знак огня), красный закат (как знак перемены погоды), качающиеся ветви деревьев (как знак ветра) и т. п. Наоборот, конвенциональные знаки создаются человеком для специфической цели — передачи информации, и какую бы форму они не имели (словесную, жестовую, образно-наглядную и т. п.), они,

³ Несколько иное понимание естественного знака предлагает Л. Аддис, связывая его с состояниями осознанности (states of consciousness), т. е. естественный знак ментален по своей природе и является изначально интенциональной сущностью (Addis 1989:29 и сл., см. тж. Villanueva 1990). Об интенциональности знака речь пойдет в последующих разделах.

будучи по природе антропогенными, являются составной частью человеческой культуры.

Однако не все так просто в проведении границы между этими двумя типами знаков. Так, археологи проводят раскопки с целью обнаружить следы материальной культуры на местах древних поселений людей: сохранившиеся остатки жилищ, орудия труда, оружие, домашнюю утварь и т. д. Найденные при этом предметы (например, осколки глиняной вазы со следами росписи) являются артефактами, они были созданы человеком для удовлетворения определенных потребностей, зачастую вовсе не связанных с передачей кому-то какой-либо информации. Тем не менее, для археолога они выступают в роли значимых сущностей, так как несут определенную информацию о прошлой эпохе, скрытой от нас за далью времен. Собственно говоря, о характере той или иной (особенно исчезнувшей) культуры ученые узнают тем больше, чем больше в их распоряжении оказывается артефактов, *изначально не являвшихся знаковыми сущностями в принципе*. Знаками они становятся, только вступив в определенное отношение к интерпретатору с его знаниями и опытом. Иначе говоря, в роли естественных знаков могут выступать не только натурфакты, но и артефакты, что отчасти размывает границу между ними в сфере семиозиса.

С другой стороны, носителем конвенционального значения может быть не обязательно лишь специально созданный для этой цели знак (артефакт), но и естественный (по своей онтологии) предмет или явление. Так, дым от костра, разведенного особым образом в особом месте, может служить знаком, оповещающим о приближении врага; костер в ночном лесу может служить летчику знаком того, что здесь надо сбросить груз для партизан; перо орла в волосах североамериканского индейца говорит о том, что перед нами вождь и т. п. Это наводит на мысль о том, что онто-

логические характеристики сущности не влияют на ее способность выполнять знаковую функцию; важным является прагматический аспект *удобства ее использования* в этой функции. Соответственно, сущность, используемая в качестве знака, должна отвечать следующим требованиям: быть *легкодоступной* (подручной), *стабильной* (сохранять свою форму, по крайней мере на время, необходимое для осуществления коммуникативного акта, либо быть легковоспроизводимой), *мобильной* (чтобы она могла сопровождать человека при его передвижении в пространстве), *компактной* (для обеспечения возможности одновременного использования некоторого количества знаков).

Вместе с тем, эти требования применимы только к таким знаковым сущностям, которые имеют интенциональный характер, так как упомянутые требования определяются (задаются) намерением субъекта *использовать* эти сущности именно как знаки, т. е. его интенцией вложить в ту или иную сущность некоторую интерпретанту. Интерпретанта есть тогда, когда есть интерпретатор, способный воспринять и идентифицировать ее именно как интерпретанту: "Интерпретатор знака — организм; Интерпретанта — это навык организма реагировать под влиянием знакового средства на отсутствующие объекты, существенные для непосредственной проблемной ситуации, как если бы они были налицо" (Моррис 1983:64). Способность адекватно реагировать на знак напрямую зависит от степени разделенности общего опыта у отправителя знака и его получателя — опыта не только среды (мира) вообще, но и *опыта этого знака*. Отсутствие разделенного опыта знака означает, строго говоря, отсутствие интерпретанты (т. е. отсутствие соответствующих условий для формирования реактивного навыка), и тогда такой знак перестает быть символом, он становится сигналом — знаком, интерпретация которого опирается лишь на опыт мира, которым обла-

дает интерпретатор, поскольку у него нет разделенного с отправителем общего опыта этого знака.

Таким образом, можно выделить два основных вида использования конвенциональных знаков, имеющих целью передачу информации: собственно коммуникация и сигнализация. Различие между ними состоит в том, что коммуникация есть передача информации, тогда как сигнализация есть призыв к получателю знака предпринять или не предпринять какие-то действия. Вообще говоря, обмен информацией также преследует цель вызвать определенные деятельностные реакции, направленные на улучшение приспособленности к среде, но эти реакции, как правило, прогнозируемы благодаря наличию общих для отправителя и получателя интерпретант.

Наоборот, в процессе сигнализации отсутствие общих интерпретант (обусловленное, например, значительными культурными различиями) часто ведет к непредсказуемости возможных поведенческих реакций на сигнал, ибо, являясь символом для отправителя, знак может быть воспринят получателем как неконвенциональный сигнал, вследствие чего возникает проблема интерпретации. Как отмечал Б. Рассел (1997: 185), "один и тот же внешний стимул, проникая в мозг двух людей с различным опытом, произведет различные результаты, и только то, что есть общего в этих различных результатах, может быть использовано для выводов о внешних причинах". Другими словами, "передачи информации не происходит, если нет воспринимающего информацию" (Дорошевский 1973:95).

Следует различать "чистые" сигналы и сигналы "по недостаточности опыта" (знака), или квази-сигналы. Чистый сигнал — это знак (натурфакт или артефакт), выполняющий функцию указания на объект как элемент среды, опытом которой обладают отправитель и получатель, по договоренности между членами

общества. Сюда относятся различные условные жесты (напр., кивок головы как приветствие, взмах рукой как команда к началу какого-либо действия и т. п.), звуки (гудок парохода, заводской гудок, милицкий свисток, звонок будильника, крики "ау" и т. п.), световые и цветовые сигналы и т. д. Квази-сигнал — это знак, привлекающий внимание интерпретатора, но не дающий достаточных оснований для идентификации интерпретанта, хотя интерпретатор знает, что она должна быть. Другими словами, символ (для отправителя) становится индексом (для получателя), обнаруживая прагматическую природу отношения между двумя сторонами знака (означающим и означаемым). Отсюда следует, что давний вопрос о единстве формы и содержания языкового знака (слова) в том виде, в каком его сформулировал Соссюр, продолжает оставаться актуальным (Чернейко 1997:167), заставляя ученых искать новые подходы к решению проблемы структуры языкового знака.

3.3 Сущностные характеристики знака

3.3.1 О соотношении означающего и означаемого

Язык является знаковой системой, при этом знаковость как совокупность определенных свойств материального (форма) и идеального (содержание) характера присуща не только слову как типичному представителю языковых знаков, но и единицам более высокого уровня, или полным языковым знакам, иерархической вершиной которых являются высказывание и текст. Одним из принципиальных положений структурализма является постулат о зависимости значения языковой формы от системы языка как

таковой: *“В языке нет ничего, кроме различий. Вообще говоря, различие предполагает наличие положительных членов отношения, между которыми оно устанавливается. Однако в языке имеются только различия без положительных членов системы. Какую бы сторону знака мы ни взяли, означающее или означаемое, всюду наблюдается одна и та же картина: в языке нет ни понятий, ни звуков, которые существовали бы независимо от языковой системы, а есть только смысловые различия и звуковые различия, проистекающие из этой системы. ... В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу”* (Сосюр 1977:152 и сл.). Внешний мир и то, как люди взаимодействуют с ним, как они его воспринимают и концептуализируют, с точки зрения структурализма — экстралингвистические факторы, не затрагивающие самой системы языка. Соответственно, знание о мире, которым владеет говорящий, также остается внешним по отношению к системе. Однако сколько бы лингвисты не пытались постичь суть этой системы, их усилия не принесут нужных результатов до тех пор, пока внешний мир и знание о нем — для отображения и репрезентации которых, собственно говоря, и служат различные знаковые системы — будут исключаться из предмета лингвистики и лингвистической семиотики. Ведь любой знак сам по себе является объектом реального мира, и его изучение *невозможно* в отрыве от той среды, в которой он существует.

Особым видом знака является знак языковой — “материально-идеальное образование (двусторонняя единица языка), репрезентирующее предмет, свойство, отношение действительности” (ЛЭС 1990:167). Следует сказать, что не все разделяют эту точку зрения. Так, в работах представителя философского пози-

тивизма Р. Карнапа, оказавших заметное влияние на лингвистические знаковые теории, знак рассматривается как односторонняя сущность, поскольку значение языковой формы исключается из научного анализа как препятствующее процессу формализации и математизации синтаксиса естественного языка. Здесь можно заметить, что даже самая успешная формализация и математизация языка (в возможность которых, впрочем, сегодня мало кто верит) вряд ли может способствовать *пониманию его природы*, так как знак без значения, вложенного в него интерпретатором, перестает быть знаком.

В. З. Панфилов считал знак не двусторонней, а односторонней единицей, аргументируя это следующим образом:

“Идеальная сторона билатеральных языковых единиц, имея ту же онтологическую природу, что и содержание абстрактного, обобщенного мышления, формируется в связи с отражением объективной действительности, является образом (в гносеологическом смысле). <...> Идеальная сторона языковой единицы, будучи образом тех предметов объективной действительности, с которыми она соотносится, в отличие от ее материальной стороны не является произвольной и, следовательно, знаковой по своей природе. Этой природой обладает лишь материальная сторона языковой единицы, ввиду чего языковым знаком следует считать не языковую единицу в целом, а лишь ее материальную сторону, т. е. языковой знак представляет собой не двустороннюю, а одностороннюю сущность” (Панфилов 1983:79 и сл.).

Как видим, эта аргументация основана опять-таки на той предпосылке, что языковой знак по своей природе произволен — что, в общем и целом, в лингвистической семиотике убедительно никем доказано не было. Более того, тезис о произвольном характере идеальной стороны знака как образа некоторого реаль-

но существующего объекта представляется малоубедительным. Как показывает на примере анализа абстрактного имени Л. О. Чернейко, семантический инвариант содержания слова, обеспечивающий его относительное понимание и возможность употребления, значительно меньше вариативной части, производной от опыта личности, хотя и укоренен глубже. “Абстрактное имя надо осваивать. Означающее (интенционал) абстрактного имени отстоит от означающего не на одно дыхание, как полагает Ж. Деррида, а иногда на целую жизнь” (Чернейко 1997:173).

Выше уже говорилось о недоразумении, вызванном возможностью разных интерпретаций термина “образ” в том виде, как его употребляет В. З. Панфилов, и которых может быть по крайней мере три: 1) образ в смысле “икона” как тип знака, обнаруживающего сходство со своим объектом (ср. значение слова “образ” в русской христианской культуре), 2) образ в смысле “внутренний (в отличие от внешнего) эмпирический объект”, или перцепция, т. е. образ, возникающий в воображении человека, 3) образ как абстрактное содержание (= концепт), понимание которого является необходимым условием адекватного употребления языкового знака; поскольку концепты обеспечивают отождествление и различение объектов, их можно рассматривать как “целостные совокупности свойств объекта” (ЛСД 1994:91) в виде определенных информационных структур (иногда в этом значении употребляется термин “гештальт”). Очевидно, “образ в гносеологическом смысле” надо понимать как некую структуру представления знания, отражающую содержание опыта, т. е. как концепт (в современном общеупотребительном значении этого термина) — но тогда необходимо учитывать ряд важных факторов, связанных с сущностными характеристиками концептов.

Во-первых, не каждый образ, вызываемый в сознании воспринятым знаком, является отображением чего-то, реально существующего в действительности — напомним широко обсуждавшиеся (и потому хорошо известные) примеры таких языковых единиц, как *кентавр*, *единорог*, *русалка* и т. п. Во-вторых, как совершенно справедливо указывает Б. М. Гаспаров (1996:284), “образ, вызываемый тем или иным выражением в представлении того или иного говорящего субъекта, отражает индивидуальный жизненный опыт и уникальные перцептивные способности именно этой личности и никогда не бывает тождественен тому образу, который это же выражение вызовет в сознании любого другого говорящего субъекта”, т. е. образ субъективен по своей природе. В-третьих, противопоставление произвольности материальной стороны знака произвольности его идеальной стороны строится на допущении, что тело знака (знаконоситель) в той форме, в которой оно существует в данном конкретном языке, есть результат волюнтивного акта со стороны пользователей языка, тогда как структура образа (концепта) не является результатом какого-либо соглашения (конвенции). О логическом противоречии, заключенном в сосюрсовском постулате о конвенциональной природе языка, мы уже говорили (см. гл. 1), но даже если принять (с большим допущением) этот постулат как отражающий социальный аспект языка, то тогда точно так же его следует распространить и на концепт, поскольку концепты способствуют “обработке субъективного опыта путем подведения информации под определенные *выработанные обществом* (курсив мой. — А.К.) категории и классы” (КСКТ 1996:90).

В обоих случаях, т. е. когда речь идет о роли общества в формировании материальной либо идеальной стороны языкового знака, эта роль гипостазирована в нечто вневременное и внепространственное (в духе Платона), хотя на самом деле эта роль за-

ключается в том, что общество выступает всего лишь средой, в которой живет и функционирует язык. В противоположность соссюрдовской характеристике языка как социального продукта, совокупности необходимых условностей, принятых коллективом, следует признать справедливым замечание Р. Барта о том, что “язык — это не та сфера, где человек принимает на себя социальные обязательства, это лишь рефлекс, не ведающий выбора, нераздельная собственность всех людей... социальным объектом он является по своей природе, а не в результате человеческого выбора” (Барт 1983:309). В этом смысле роль общества в семиозисе носит такой же характер, как роль природных условий, скажем, в формировании и развитии системы водоемов в какой-то географической местности: с одной стороны, нельзя отрицать влияния этих условий на общее количество и характер рек, озер, болот и т. п.; с другой стороны, это влияние не определяется наличием какого-либо замысла (интенции) с чьей бы то ни было стороны, а формирование и функционирование водных элементов среды не определяется каким-либо планом. Это, однако, не мешает тому, чтобы водоемы использовались человеком для удовлетворения различных потребностей — в той мере, в какой они оказываются для этого пригодными.

То же самое можно сказать и об особенностях использования языковых знаков, особенно в контексте дискуссии по поводу различий между “значением” и “смыслом”. Так, для разных индивидуумов тот или иной водоем ассоциируется с разными сферами личного опыта: для одного река — это источник пропитания (рыбы), для другого — вода для питья и орошения почвы в земледелии, для третьего — удобный путь преодоления расстояний на местности, а для кого-то — просто хорошее место отдыха. И хотя значение слова река (то, что можно назвать “конвенциональной составляющей” идеальной стороны) во всех

случаях одно и то же, смысл, вкладываемый в него различными пользователями (то, что можно назвать “интенциональной составляющей” содержания знака) — разный, т. е. “значение принадлежит словесному знаку, тогда как смысл вне его, он в сознании, и даже во Вселенной” (Чернейко 1997:175). Но ведь и значение существует тоже в сознании, если под “сознанием” понимать “способность личности ориентироваться в мире” (там же, с. 181), которая на современном этапе развития человечества предполагает, прежде всего, способность адаптации к информационной (языковой) среде, осуществляемой посредством языка же. Получается, что идеальное в знаковой форме принадлежит одновременно и обществу, и индивиду, и уже в силу этого его нельзя трактовать как нечто однородное, противопоставляемое формальной стороне по какому-то одному сущностному признаку — в данном случае, по признаку чувственной явленности, который берется за основу разграничения материального и идеального в знаке.

3.3.2 Символ и знак

Понятие символа в том виде, в каком оно используется в современной науке (философии, логике, математике, семиотике и т. п.), весьма противоречиво, и противоречие это, как мы могли видеть (см. гл. 2), уходит корнями в историю развития семиотики. На сегодняшний день преобладают, в основном, два подхода к определению объема содержания этого термина: первый связан с расширительным толкованием символа как эмпирического объекта, используемого для указания на другие эмпирические или же абстрактные объекты (в последнем случае символы в этом смысле

ле мы находим в различных проявлениях культуры), тогда как второй ограничивает его употребление сферой функционирования языковых знаков, которые делятся на символические и несимволические (= указательные, или дейктические у К. Бюлера (Bühler 1934), “ярлыки” и “указатели” у Т. Гича (Geach 1962)). Кроме того, дополнительная сложность в ограничительном толковании термина “символ” вызвана тем, что возродившийся во второй половине 20 в. интерес к семиотике Пирса и введение в широкий научный обиход предложенного им понятия “символа” как особого вида знака, являющегося онтологической категорией прототипической структуры, внесли определенную путаницу из-за совпадения термина с термином, которым пользовался Соссюр, но в который он вкладывал существенной иной смысл, нежели чем Пирс.

По выражению А. Ф. Лосева (1991:266), “символ есть арена встречи обозначаемого и обозначающего, которые не имеют ничего общего между собою”, при этом для того, чтобы знак был именно знаком, необходим интенциональный акт сознания, направленный на предмет знака с целью его выделения из других предметов. Как следует из этого определения, Лосев уравнивал знак с символом, хотя внутренняя форма этих слов — и, соответственно, значение — существенно различается (ср. лат. *signum* “метка” и латинское заимствование из греч. *symbolum* “вместе брошенное”, “вброшенное”). Представляется, что приведенное утверждение представляет собой не что иное, как классический парадокс, вызванный объективистским (рационалистическим) подходом к сущности познания как жизненного процесса.

Начнем с того, что символ как условный знак абстрактного объекта (понятия, идеи) существенным образом отличается по своей онтологии от символа как условного знака эмпирического объекта — при условии, что и в том, и в другом случае мы дейст-

вительно имеем дело с символом в непротиворечивом толковании термина. Это отличие состоит в том, что в качестве означаемого в первом случае выступает некий ментальный конструкт — “концепт”, “идеальный образ”, “ментальная репрезентация” и т. п. (терминологические различия в данном случае не играют роли) некоторой совокупности отношений и взаимодействий в наблюдаемом и познаваемом человеком мире, которая хотя и категоризована с точки зрения языка как сущность, на самом деле не является таковой в эмпирическом смысле; в роли же означающего, как правило, выступает эмпирический (точнее, псевдоэмпирический — см. ниже) объект, не являющийся языковым знаком и при этом помещенный в сопутствующий ему *обязательный контекст интерпретации*, вне которого его способность выступать в качестве символа исчезает.

Так, мы говорим: *Голубь — символ мира*, однако если я, идя по грязной, избитой проселочной дороге (машина сломалась, а до ближайшей деревни 10 км), замечаю стайку вспорхнувших над полем диких голубей, у меня вряд ли возникнет комплекс ассоциаций, благодаря которым я соотнесу наблюдаемый эмпирический объект <голубь> с абстрактным понятием “мир”, осуществив, тем самым, акт категоризации эмпирического объекта как знака. Для меня это будет просто голубь и ничего больше, поскольку в описанной ситуации имеющиеся у меня фоновые знания некоторых культурных традиций, устанавливающих определенное соотношение между абстрактными понятиями этой культуры и некоторой совокупностью эмпирических объектов (вернее, тем, что мы знаем и думаем об этих объектах в том или ином контексте интерпретации и к чему мы обращаемся как к определенному концептуальному инвентарю в целях образного представления культурных абстракций), *не актуализируются*. Для

того, чтобы это произошло, необходимо, как минимум, два условия.

Во-первых, должен наличествовать контекст интерпретации, в котором возможно осуществление онтологической категоризации данного эмпирического объекта как знака (= культурного символа) абстрактного понятия, каковым является понятие “мир”. Это значит, что наблюдаемый фрагмент мира, частью которого является категоризируемый таким образом объект, должен вызывать в сознании воспринимающего субъекта ассоциацию с той концептуальной структурой, которая лежит в основе абстракции «мир». Возьму на себя смелость утверждать, что полная экспликация этой структуры (т. е. выявление всех составляющих ее компонентов в их иерархических связях и зависимостях) — дело малоперспективное, ибо формирование этой структуры происходит на протяжении всей осознанной жизни человека. Отталкиваясь от некоторого набора социально закрепленных понятий, служащих “скелетом” формируемой структуры концепта и входящих, обычно, в словарную дефиницию соответствующего понятия, закрепленного в слове (ср. толкование слова мир: “согласие, отсутствие вражды, ссоры, войны” - Ожегов 1990:356), человек в процессе своего личностного развития добавляет к ним различные смысловые элементы, порожденные индивидуальными особенностями восприятия и категоризации (= познания) мира. Эти особенности образуют то, что мы называем опытом мира, который в каждом отдельном случае сугубо индивидуален.

Следовательно, чтобы возникла устойчивая, хотя бы и кратковременная, ассоциация между структурой наблюдаемого фрагмента физического мира и структурой абстрактного понятия “мир”, первая должна в какой-то степени абстрагироваться от своих материальных носителей. Такое абстрагирование естест-

ственным образом предполагает интенциональную направленность категоризации, которая, применительно к описываемому случаю, возможна тогда и только тогда, когда психическое состояние субъекта “настраивает” его на иную “волну” восприятия, выводящую на передний план укорененные в индивидуальном культурном опыте ассоциации. Это ассоциации, вызываемые не прямой аналогией соответствующих структур, а определенным образом настроенной модальностью восприятия, ответственной за направление последующей абстракции и категоризации, в результате чего, в конечном итоге, и возникает структурная аналогия.

Во-вторых, — и это условие органически вытекает из первого, — субъект должен обладать достаточным объемом фоновых знаний, включающих необходимый опыт разделяемой данным этносом культуры, который ответствен за характер возможных ожиданий, влияющих на интерпретацию. Этот опыт, опять-таки, может быть как общественным, так и личностно-индивидуальным. В первом случае он усваивается как унаследованное от прошлых поколений знание, сохраняемое и передаваемое в языке и через язык в виде культурно значимых текстов. Во втором случае, он приобретает в результате взаимодействия с предметным миром, при этом следует помнить, что четкой границы между этими двумя видами опытного знания провести нельзя — ведь язык есть среда, в которой и через которую человек взаимодействует с миром.

Итак, насколько приложим термин “символ” в рассмотренном смысле к условным знакам эмпирических объектов? Здесь надо иметь в виду следующее. Под условным знаком эмпирического объекта может пониматься лишь такая эмпирическая сущность, которая онтологически не связана с тем, знаком чего она является. При наличии онтологической связи (например, в

случае дыма и огня) знак не может быть охарактеризован как условный, следовательно, он не может быть подведен под определение символа. Но в таком случае, могут ли вообще одни эмпирические объекты выступать в роли условных знаков (символов) других эмпирических объектов?

Отвечая на этот вопрос, мы сразу же должны отбросить эмпирические объекты-артефакты, созданные исключительно для осуществления символической функции в отношении некоторых абстракций — такие, как, например, крест в христианской религии, различные флаги, гербы, условные графические изображения типа свастики и т. п. Сделав это, мы увидим, что возможность приписать эмпирическому объекту (натурфакту или артефакту) символическую функцию не столь очевидна, как это может показаться из расширительного толкования термина «символ». Если быть более точным, такая возможность ограничивается, пожалуй, одним типом эмпирических (естественных) объектов, а именно, *звуковым словом* (но в этом случае, хотим мы того или нет, мы уходим от расширительного толкования символа в сторону его ограничительного толкования — неважно, в духе Соссюра или Пирса). При этом надо иметь в виду, что в качестве символизируемых эмпирических сущностей выступают не только предметы, но и структурно организованные системы отношений и взаимодействий в предметном мире, куда составной частью входит и человек со всем, что ему свойственно именно как человеку, а значит, в роли символизируемых посредством языковых знаков сущностей могут выступать сами же языковые сущности. Таким образом, перед нами оказывается система с круговой организацией, т. е. организацией, характерной для *живых систем* в том виде, в каком они описаны в концепции У. Матураны.

Эта концепция представляет чрезвычайный интерес для гносеологии вообще, и для когнитивной семиотики в частности, поскольку она позволяет выйти на принципиально новый уровень осмысления роли языка в генерации и представлении знаний — другой вопрос, что современная наука на этот уровень до сих пор не вышла. Но историческая судьба великих такова, что их идеи и взгляды завоевывают признание много лет спустя после того, как они были впервые высказаны (вспомним, хотя бы, пример Ч. Пирса). Вот как Матурана определяет основную гносеологическую посылку, лежащую в основе его подхода к проблеме познания:

“Человек познает, причем способность к познанию у него обусловлена его биологической целостностью; кроме того, человек знает, что он познает. Являясь фундаментальной психологической, а значит и биологической функцией, познание направляет его действия во вселенной, и благодаря знанию он уверен в своих деяниях. Кажется, будто возможно *объективное знание*, а благодаря *объективному знанию* вселенная начинает казаться системной и предсказуемой. Однако знание как переживание — это нечто личностное и частное, что не может быть передано другому. То же, что, как считают, может быть передано, то есть *объективное знание*, всегда должно создаваться самим слушателем: слушатель понимает, причем впечатление, будто *объективное знание* передано ему, возникает лишь в том случае, если он готов понять. Таким образом, суть познания в качестве биологической функции такова, что ответ на вопрос “*Что есть познание?*” должен возникнуть из понимания знания и познающего субъекта, возникающего из способности последнего к познанию” (Матурана 1996:95).

Для нас главным здесь является акцент на роли слушателя в создании так называемого объективного знания: этот процесс, собственно говоря, есть не что иное, как интерпретация знаков (в первую очередь, языковых), осуществляемая в определенном

пространственно-временном контексте на фоне знаний, установок и ожиданий слушателя (информационного фона), причем одновременно с самим процессом интерпретации происходит изменение и информационного фона.

Созвучную мысль находим у Куайна (1996:41): “Самые сокровенные факты, касающиеся значения, не заключаются в подразумеваемой сущности, они должны истолковываться в терминах поведения... Познание слова состоит из двух частей. Первая заключается в ознакомлении с его звучанием и в способности воспроизвести его. Это фонетическая часть, которая достигается путем наблюдения и имитации поведения других людей... Другая часть, семантическая, заключается в познании, как использовать это слово”. В этих особенностях языковых знаков, помимо всего прочего, заключается одна из главных сложностей в понимании того, как устроен и функционирует естественный язык, и я надеюсь еще вернуться к обсуждению этого интереснейшего вопроса. Но обратимся вновь к проблеме символа.

В ходе тривиального взаимодействия с окружающим миром мы воспринимаем и категоризируем сущности как структурно организованные компактные области пространства. Пространство, в свою очередь, есть та данность бытия, которая доступна непосредственному восприятию через органы чувств — что, собственно говоря, и является конституирующим свойством эмпирического объекта как онтологической категории. “Разная” пространство в процессе предметной категоризации, мы наделяем его структурой, позволяющей нам лучше ориентироваться в “подручном” мире. Это есть первая и основная цель предметной категоризации, основанная на когнитивных структурах первого порядка, к которым относятся пространство и время (см. Кравченко 1996а).

Наоборот, символизируемые понятия, как правило, представляют собой сущности, сконструированные в ментальном пространстве образов, гештальтов, репрезентаций, участвующих в формировании когнитивных структур второго порядка, которые представляют собой, если можно так выразиться, концепты концептов. Символизируемые понятия не имеют легко идентифицируемых материальных субстратов. В роли того же символа мира, например, <голубь> выступает не как эмпирическая сущность, категоризованная на уровне когнитивных структур первого порядка (т. е. как один из видов птиц — см. пример выше), но как вторичный концепт иного уровня абстракции, чаще всего репрезентируемый не конкретным живым существом в данном пространственно-временном контексте, по определению лишенным знаковости, а его (стилизованным) изображением именно в знаковом контексте, который выше был назван обязательным контекстом интерпретации.

На знаковом характере (знаковости) обязательного контекста интерпретации символа следует остановиться особо. Как уже говорилось, приписать символическую функцию эмпирическому объекту — дело не такое простое и самоочевидное, так как одни эмпирические объекты не способны выступать символами других эмпирических же объектов; как правило, в роли символизируемых сущностей выступают абстрактные понятия. Ср.: *Черная роза — символ печали, красная роза — символ любви; Серп и молот — символ единения рабочих и крестьян*. Мы можем говорить о символе веры, символе страны или какого-то знаменательного события, но мы обычно не говорим о символе камня или символе леса. Конечно, само по себе это наблюдение недостаточно для того, чтобы поставить под сомнение правомерность расширительного толкования символа. Вот тут-то и возникает потребность рассмотрения условий, в которых то, что на первый взгляд

представляется эмпирическим объектом, приобретает способность выступать в символической функции.

Обратимся ко второму из приведенных примеров, про серп и молот — а именно, к тому смыслу, который интерпретатор извлекает из самого сочетания *серп и молот*. Любой носитель культуры советского периода скажет, что для него это сочетание имеет устойчивую ассоциацию не с отдельными самостоятельными предметами (т. е. серпом и молотом как орудиями труда), по тем или иным причинам рассматриваемыми в едином хронотопе, а с образом такой единой квазипредметной сущности, каковой является изображение некоторой фигуры, элементами которой являются изображения же серпа и молота. Соответственно, *серп и молот* в данном случае является сложной номинативной единицей со своим денотатом и определенным кругом возможных референтов — но этот вывод никак не может быть сделан на семантико-синтаксических основаниях, которые можно было бы надеяться обнаружить в результате анализа предложения *Серп и молот — символ единения рабочих и крестьян* (мы оставляем в стороне вопрос о логической конъюнкции, по правилам которой лозунг должен был бы звучать как *Серп и молот — символ единения крестьян и рабочих*). Этот вывод основывается на нашем опыте сочетания *серп и молот* как языкового знака, означаемым которого выступает внеязыковая квазипредметная (т. е. псевдоэмпирическая) сущность, единственным назначением которой является осуществление символической функции по отношению к символизируемому с ее помощью абстрактному понятию “единение рабочих и крестьян”.

Интересно, что, будучи структурно сложным, этот символ не поддается разложению на простые составляющие типа “серп — символ крестьян” и “молот — символ рабочих”; по крайней мере, в нашем языковом сознании отсутствует необходимый опыт со-

ответствующих контекстов. О чем это говорит? О том, что формирование символической функции происходит сугубо интенционально (в этом Лосев, несомненно, прав), в отличие от знаковой функции, формируемой опытным путем, т. е. экспериенциально.

В случае символа мы имеем дело с *интенциональным вбрасыванием* концепта в структуру эмпирически явного фрагмента мира и установлением функциональной связи между эмпирической сущностью и абстрактным понятием. Это значит, что появление всякого символа возможно лишь через переосмысление и модификацию уже *существующих знаковых отношений* между различными видами эмпирических сущностей. Другими словами, самое существование символа невозможно без сопутствующего *знакового* (в широком смысле) контекста. Иначе говоря, символ в широком толковании (вне рамок сентенциональной семиотической парадигмы) есть определенный тип знаковой сущности, порождаемой в связи с необходимостью означивания сложных абстрактных понятий, при этом самый символ, в свою очередь, выступает в роли означаемого — но уже языкового знака. Можно сказать, что символ занимает промежуточное положение в иерархии знаковых отношений, служа сообразным мостиком от конкретного к абстрактному на пути категоризации мира.

Ограничительное толкование символа, т. е. в рамках современной сентенциональной парадигмы, своей эпистемической предпосылкой имеет тезис о конвенциональной природе и произвольном характере языкового знака и связано с решением вопроса о происхождении естественного языка (см. 1-ю гл.). Отказ от этого тезиса автоматически ставит под сомнение самую правомерность использования понятия “символ” применительно к языковому знаку — по крайней мере так, как это делали Соссюр или Бюлер. Действительно, в естественном процессе овладения род-

ным языком человек приобретает знания о знаковых функциях языковых единиц *опытным путем*, через постижение связей, существующих между эмпирическими сущностями одного типа (звуковыми словами) и эмпирическими сущностями всех других возможных типов, включая абстракции как эмпирические сущности второго порядка, выявляемые на втором уровне когнитивной категоризации. В ходе естественного процесса овладения языком не представляется возможным говорить о возникновении символической функции у языковых знаков *в принципе* — так как на этом этапе отсутствует интенциональное вбрасывание новых концептов в уже существующие знаковые отношения. Именно по этой причине символ не имеет адресата, т. е. он не коммуникативен, так как нельзя передать символом какое-либо сообщение другому лицу (Арутюнова 1999:339). Символизация как высшая ступень абстрагирующей деятельности сознания становится возможной при наличии двух главных условий: полное (или достаточно полное) овладение *знаковым инвентарем языка* и наличие достаточного массива *фоновых знаний*. Неслучайно, что экстремальные проявления символизации обнаруживаются в творчестве высокоинтеллектуальных личностей — например, в литературе и искусстве.

Как мы могли видеть, расширительное толкование понятия “символ” создает предпосылки для смещения онтологически разных типов эмпирических сущностей, что и служит причиной не прекращающейся дискуссии по поводу того, что есть символ, и является ли символом языковой знак. Применительно к предмету семиотики, необходимо дифференцированное употребление понятий, ассоциируемых с термином “символ”: термин “символ”

следует оставить для той области знаковых отношений, которая не имеет отношения к собственно языковым знакам. В рамках же сентенциональной парадигмы семиотики целесообразно было бы пользоваться термином “символический знак”, особенно учитывая то, что чисто символических (а потому и безоговорочно произвольных) языковых знаков не существует в принципе.

3.3.3 Материя языкового знака

Обычно, когда говорят о материальной стороне языковых знаков, вопрос о виде материи, его образующей, не является предметом специального рассмотрения: действительно, всем известно, что слова состоят из звуков (колебательных движений воздуха или другой среды), а те и другие могут быть графически (т. е. зрительно) репрезентированы в виде письма. Но почему материей, из которой “слеплен” естественный язык, должны быть звуки (точнее, звуковые цепочки, или синтагмы), а не какие-то другие материальные сущности? Свыше 80% информации в мозг человека поступает через зрительные анализаторы, а поскольку язык является средством хранения и передачи информации, естественно было бы ожидать, что в роли языковых законосителей должны выступать *зрительно воспринимаемые сущности*. Это естественное ожидание приводит, в частности, к тому, что — и здесь с Соссюром нельзя не согласиться — “изображению звучащего знака приписывается столько же или даже больше значения, нежели самому этому знаку. Это все равно, как если бы утверждали, будто для ознакомления с человеком полезнее увидеть его фотографию, нежели его лицо” (Соссюр 1977:63). Соссюр призывал не забывать, что язык и письмо представляют собой

две различные системы знаков, из которых вторая существует лишь для того, чтобы служить для изображения первой, поэтому предмет лингвистики должно быть не слово звучащее и слово графическое в их совокупности, а исключительно звучащее слово. Таким образом, рассматривая материальную сторону языкового знака, мы должны ответить, как минимум, на два вопроса: 1) Почему естественный человеческий язык является звуковым, т. е. случайность это или определенная закономерность? и 2) Какое место в семиозисе занимает графическая репрезентация звуковых знаков, или письмо — в частности, в аспекте информационно-репрезентативной функции языковых знаков?

На первый вопрос можно попытаться ответить, если отвлечься от идеи “конвенциональности” языка и рассматривать его как особую среду, являющуюся, в свою очередь, частью *естественной* среды, в которой протекает жизнедеятельность человека. Учитывая, что звук является практически универсальным средством общения также и в животном мире, следует предположить наличие объективных предпосылок к тому, чтобы звуковая материя служила универсальным строительным материалом для языковых законотворителей. Собственно говоря, такая попытка была предпринята Гумбольдтом, связывавшим звуковой характер языка с тем, что звукопроизводство является неотъемлемой чертой живого организма, сопровождая различные аспекты его деятельности, включая мыслительную (см. Heath 1988:55 и сл., Oller 2000:317).

В одном из предыдущих разделов были перечислены прагматические характеристики, которыми должна обладать сущность, выступающая в (конвенциональной) знаковой функции: легкодоступность, стабильность (или легковоспроизводимость), мобильность, компактность. Остановимся на них подробнее.

Легкодоступность и стабильность. На первый взгляд, эти требования могут в равной мере распространяться как на натурфакты, так и на артефакты, выступающие в знаковой функции. Действительно, если некоторый тип натурфакта является постоянным элементом среды, окружающей пользователя знаков, т. е. он всегда под рукой, почему не использовать его как знак? Например, такую функцию могли бы выполнять мелкие камни особой формы или цвета, морские раковины, перья птиц и т. п. — и в некоторых культурах натурфакты такого рода на деле используются как неязыковые знаки, но их потенциальные знаковые возможности все равно крайне ограничены по ряду причин, а потому они не могут выполнять функцию языковых знаков.

Одной из таких причин является то, что для выполнения знаковой функции материальная сущность должна быть включена в общий опыт интерпретаторов, в котором внешняя форма этой сущности (тело знака, или законотворитель) должна сохранять стабильность (неизменность), благодаря которой обеспечивается ее “узнавание” и, соответственно, адекватная интерпретация. Это значит, что если какой-то натурфакт наделяется значением и начинает выступать в знаковой функции, он с необходимостью должен являться всем возможным пользователям в более или менее неизменном виде, т. е. каждый экземпляр такого знака должен быть тождествен любому другому экземпляру этого же знака. Следовательно, для того, чтобы какой-то натурфакт смог выступать в функции (языкового) знака, должно существовать практически неограниченное количество его экземпляров. Вместе с тем, случаи, когда два (не говоря уже о большем количестве) однотипных натурфакта хотя бы на первый взгляд обнаруживают тождественность друг другу, в природе крайне редки.

Понятие “легкодоступности” включает в себя не только идею “подручности”, но и идею “чувственной данности”, т. е.

сущность, выступающая в знаковой функции, должна быть а) в наличии, б) доступной нормальному (в смысле "не связанному с проблемой идентификации") восприятию. Другими словами, реакция на раздражитель (знак) не должна быть затруднена, т. е. знак должен быть *эмпирически (чувственно) явным*. (Отметим попутно, что на эмпирическом уровне понятие "наличия" напрямую связано с чувственной явленностью: то, что воспринимается — есть, и, следовательно, существует, и наоборот, того, что не воспринимается — нет, не существует.)

Другая причина невозможности использования натурфактов в функции языковых знаков проистекает из того обстоятельства, что язык, будучи средством приспособления человека к окружающей среде (частью которой язык одновременно является как продукт такой приспособительской деятельности), не может быть чем-то чисто внешним по отношению к приспособляющемуся организму, он должен быть онтологически с ним связан⁴, чего о подавляющем большинстве натурфактов сказать нельзя. Это условие онтологической связи накладывает ограничение и на возможность использования в знаковой (языковой) функции артефактов, которые могут удовлетворять как условию легкодоступности, так и условию стабильности.

Мобильность. Это условие (т. е. способность знака беспрепятственно, или почти беспрепятственно, перемещаться в про-

⁴ Данное положение перекликается с концепцией круговой организации живой системы У. Матураны (1996:99): "Круговая организация является живой организацией, если специфицирующие ее компоненты — это компоненты, синтез которых или их поддержание она обеспечивает таким образом, что продуктом их функционирования оказывается производящая их функционирующая организация."

странстве-времени) является важным фактором, определяющим возможность для материальной сущности выступать в роли знаконосителя. Объясняется это тем, что а) человек (пользователь языковых знаков) ведет активный образ жизни, постоянно перемещаясь в пространстве-времени, б) передача информации (а именно этой цели служат языковые знаки), как правило, связана с преодолением определенных пространственно-временных пределов, разделяющих отправителя и получателя. Таким образом, мобильность, как свойство знаковой сущности, подразумевает двоякую способность: перемещаться и быть перемещаемой в пространстве-времени. В свою очередь, эта способность напрямую связана с тем, насколько знаконоситель отвечает требованию компактности.

Компактность. Материальная сущность тем мобильнее, чем она компактнее. Это общее свойство объектов действительности, наблюдаемое в природе, однако не следует понимать абсолютно, применительно к знакам оно должно трактоваться как ограничительная зависимость. Ограничения на эту зависимость накладываются факторами прагматического характера: уменьшение физических размеров знаконосителя (как по параметру пространственных измерений, так и по временному параметру) сверх определенных пределов ведет к нарушению условия легкодоступности, и может получиться так, что физические характеристики предполагаемого знаконосителя окажутся за сенсорным порогом чувственных анализаторов, ответственных за восприятие знака. Таким образом, критерием компактности выступает опять же прагматический фактор.

Роль прагматических факторов в семиозисе отнюдь не случайна или второстепенна, как это может показаться на первый взгляд. Рассмотренные нами условия, которым должен удовлетворять языковой знак (точнее, знаконоситель), находятся в тес-

ной взаимосвязи (когда то или иное условие является причиной либо следствием другого) и отражают практический аспект языковой деятельности человека как процесса непрерывного оперирования знаковыми сущностями. В ходе такой деятельности человек все время оказывается перед необходимостью решать единую задачу объективации опыта посредством языковых знаков и категоризации опыта самих этих знаков, являющихся “важнейшим и неотъемлемым компонентом жизненного опыта, в котором протекает существование говорящего субъекта” (Гаспаров 1996:241). Будучи одновременно средством и продуктом целенаправленной деятельности, языковые знаки *прагматичны по своей онтологии* — что, в общем и целом, блестяще показал в своих трудах Ч. С. Пирс.

Итак, что же должен представлять собой законодатель, чтобы отвечать необходимым прагматическим условиям, обеспечивающим успешное функционирование языкового знака? Во-первых, он всегда, независимо от меняющихся условий внешней среды, должен быть “под рукой” у пользователя. Во-вторых, он должен иметь онтологическую общность с организмом, целям приспособления которого к среде служит языковой знак. В-третьих, его основные сущностные характеристики не должны зависеть от индивидуальных биологических (морфологических) особенностей организма. В-четвертых, должна существовать возможность оперирования практически бесконечным числом экземпляров каждого отдельного знака, а это значит, что важнейшим свойством законодателя должна быть его *воспроизводимость в любом месте в любой момент*. В-пятых, законодатель должен иметь сложную структуру, формируемую сочетанием конечного относительно небольшого набора составных элементов, так как “дурное” дублирование мира в знаках, обладающих названными характеристиками, просто невозможно. Все

это подводит к мысли, что идеальным (т. е. отвечающим всем перечисленным условиям) телом знака должно быть материальное образование, являющееся продуктом функционирования организма в естественных условиях. Таким продуктом может быть лишь структура, состоящая из членораздельных звуков — а это значит, что, во-первых, характер материальной субстанции, легшей в основу естественного языка, не случаен, а во-вторых, эта материальная субстанция накладывает ограничения на *разрешающие способности* знаковой системы, используемой в качестве языка.

Одним из наиболее явных ограничений, которые звуковая субстанция накладывает на разрешающую способность естественного языка, является ограниченное время существования звукового знака. С одной стороны, волновая природа звуковых колебаний (и, соответственно, одновекторная направленность их воздействия на орган слуха воспринимающего знак человека) обуславливает их преходящий характер, с другой стороны, источник этих колебаний (в нашем случае — голосовые связки человека) не может служить таким “вечным двигателем”: человек может устать от долгого говорения, охрипнуть, осипнуть, вообще потерять голос; наконец, он может просто умереть — и вместе с ним умрет знание (т. е. не будет со-знания), которым он располагал, но которое некому теперь представить в форме звуковых знаков языка.

Другим ограничением — хотя не столь явного характера — является физиологический порог чувствительности органов слуха человека. В частности, существенную роль при пользовании звуковыми знаками играет расстояние между отправителем и получателем информации: для того, чтобы обмен информацией проходил успешно, участники этого процесса должны находиться на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга. Именно этот

фактор послужил на определенных этапах развития человеческого общества стимулом к созданию искусственных знаковых систем, основанных на зрительном восприятии знаконосителей (например, различные виды семафоров). Но как только естественная (биоантропогенная) звуковая субстанция как материальное тело знака приносится в жертву узкопрагматическим целям и заменяется субстанцией иного рода, знак перестает быть естественоязыковым, а система, которую такие знаки образуют, усилив один аспект своего функционирования (например, способность передавать информацию на некоторое расстояние), значительно ослабляет, а порой и просто сводит на нет, другие аспекты (например, объем информации, которую способен нести знак вообще, и объем информации, который можно передать в единицу времени, в частности); и все это вызвано тем, что искусственно созданные знаки лишены, как правило, нескольких сущностных характеристик, которыми должен обладать языковой знак чтобы быть оптимальным средством хранения и передачи информации (см. выше).

Тем не менее, осознание ограниченных возможностей звукового знака языка привело к тому, что в ходе эволюционного развития человеческого (= информационного) общества было найдено средство, позволяющее преодолеть ограничения, накладываемые звуковой субстанцией на разрешающую способность языка как знаковой системы, и при этом с наименьшим для нее ущербом. Таким средством стало величайшее изобретение человечества — письмо, особенно алфавитное.

Язык — информационная знаковая система, а информация существует во времени и пространстве; следовательно, возникает проблема ее сохранения и во времени, и в пространстве. Как уже говорилось выше, звуковой язык не позволяет в полной мере решить эту задачу. В его распоряжении находится лишь такое сред-

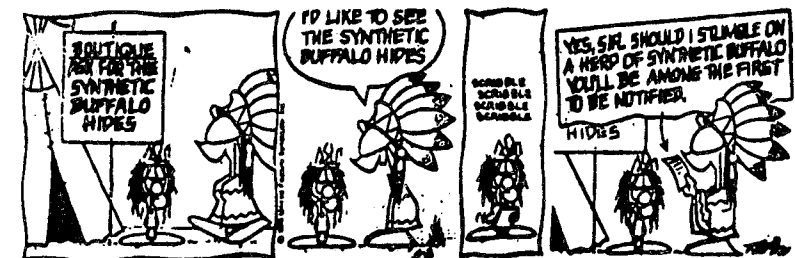
ство, как устный миф или предание, существование которых напрямую зависит как от мнемонической способности человека, так и от непрерывности цепочки, по которой мифы и предания передаются от поколения к поколению. Оба эти условия сами по себе являются ограничивающими в той мере, в какой речь идет о выполнении языком его главной функции — сохранения и передачи информации. Во-первых, не все люди обладают одинаково развитой памятью, позволяющей удерживать в более или менее неизменном виде некоторый массив информации на протяжении длительного времени (в идеале — на протяжении всей сознательной жизни человека). Во-вторых, развитие цивилизации на протяжении всей человеческой истории всегда сопровождалось ростом накопленной информации, объем которой в последние годы 20 в. фактически удваивается каждые несколько лет — а так как язык есть специфическая (информационная) среда, вне которой не может существовать *homo sapiens* как биологический вид, возникает необходимость сохранения и поддержания этой среды; ограниченные биологические (нейрофизиологические) возможности человека этого сделать не позволяют. В-третьих, нарушение преемственности поколений (природная катастрофа, эпидемия, война и т. п.) ведет к утрате “связи времен” и, соответственно, к невозможной потере значительного объема информации. Этим в немалой степени объясняется тот факт, что современная наука располагает относительно небольшими сведениями о жизни человека в так называемую “доисторическую” эпоху, да и те большей частью носят гипотетический характер. Собственно говоря, само понятие “доисторической эпохи” связано с отсутствием исторических свидетельств о том или ином периоде времени, а историческое свидетельство — это не что иное, как информация, *сохранившаяся во времени*.

Таким образом, для того, чтобы общество нормально функционировало и развивалось, необходимо, чтобы информация сохранялась полностью и без изменений, вызванных действием временного фактора, поэтому путь мифа и предания не может быть достаточно эффективным средством достижения данной цели. Необходимо такое средство хранения и передачи информации, которое бы сохраняло свою сущность как материальный объект вне зависимости от времени, т. е. необходим языковой знак *иной материальной субстанции, нежели чем звуковой*. Таким знаком является графическое слово.

Проблеме соотношения звукового и графического слова — в более широком контексте проблемы соотношения звукового и письменного языка — посвящена обширная литература (см., напр., библиографию в Амирова 1977). В центре разногласий стоит, главным образом, один вопрос: являются ли устная и письменная сферы языка различными формами одной сущности, или это разные сущности и, соответственно, разные объекты исследования? Отослав заинтересованного читателя к довольно полному обзору, который приводит Т. А. Амирова, остановимся лишь на выводе, который она делает, и с которым нельзя не согласиться в принципе: естественный и письменный язык есть “отдельные знаковые системы, подлежащие ведению соответственно — лингвистики естественного языка и лингвистики письменного языка” (Амирова 1977:36). Однако вся парадоксальность современного положения дел в лингвистике заключается в том, что на протяжении многих веков в качестве объекта исследования выступала одна знаковая система — письменный язык, а полученные в результате исследования этого объекта данные и выводы распространялись и продолжают распространяться на другую знаковую систему — язык звуковой. Как следствие этого, многие постулаты так называемого традиционного языкознания

зачастую не соответствуют действительному положению дел в сфере живого языка как функциональной информативной системы (см. Кравченко 1992, 1996б).

В качестве наглядного примера можно привести аналитическую процедуру, широко применяемую современными синтаксистами для объяснения причин явления, известного как “структурная неоднозначность” (Altmann 1998), т. е. когда смысл предложения может быть проинтерпретирован по крайней мере двумя способами. Так, в популярном американском учебном пособии “Введение в язык”, выдержавшем шесть изданий с 1974 г. (Fromkin, Rodman 1998), студент знакомится с понятием “неоднозначность” на примере следующего комикса.



Юмор этой шутки основан на том, что два персонажа (вождь и торговец) по-разному интерпретируют смысл фразы *synthetic buffalo hides*: 1) “синтетические бизоньи шкуры” (вождь) и 2) “шкуры синтетических бизонов” (торговец). Это вызвано особенностями английского синтаксиса, основу которого составляют позиционные (структурные) отношения между членами предложения. Лингвист, подходящий к анализу такой фразы со структуралистских позиций, видит две возможности организации ее смысловой структуры: либо *synthetic [buffalo hides]*, либо

[synthetic buffalo] hides. При этом, однако, не берется во внимание тот факт, что в нормальной жизненной ситуации никому не придет в голову интерпретировать эту фразу во втором смысле — по той простой причине, что в мире каким мы его знаем не существует синтетических бизонов, чьи шкуры (?) могли бы выступать в роли товара, тогда как нечто, выглядящее как шкура бизона (или другого животного) и изготовленное из синтетики, вещь вполне обычная.

Для нормального пользователя языка в естественных условиях языкового употребления проблемы снятия неоднозначности, как правило, не возникает, так как при интерпретации смысла он опирается на неязыковые знания относительно возможности тех или иных ситуаций в реальном мире (Bod 1998:2). Лингвистическая же (синтаксическая) теория, ограничиваясь в своих изысканиях анализом структур письменного языка, игнорирует факты языковой действительности, возводя солидные здания на зыбком, а порой и просто несуществующем фундаменте.

С учетом приведенных соображений, вопрос о соотношении слова звучащего и слова написанного приобретает несколько иной смысл, чем у Соссюра; более того, в свете вышеизложенного, цели и задачи лингвистики как науки о естественном языке также предстают в ином ракурсе, имеющем естественнонаучную гносеологическую ориентацию. Такая ориентация неизбежна уже хотя бы в силу того, что особенности материальной субстанции естественных (звуковых) и письменных языковых знаков не являются случайными, а находятся в непосредственной зависимости от общих законов и принципов эволюции экосистем — при условии, конечно, что естественный язык рассматривается как важнейшая составляющая среды обитания человека, а следовательно, и как часть биосферы. Это значит, что раскрытие тайны происхождения и эволюции естественного языка вряд ли воз-

можно вне биологической парадигмы исследования познания как она представлена, например, у У. Матураны (1996) и, отчасти, М. Мамардашвили (1997) — хотя сама идея высказывалась значительно раньше А. Шлейхером (Schleicher 1863).

Роль письменности в развитии человеческого общества трудно преувеличить (см. Olson 1996), ибо с появлением графического знака стало возможным преодолеть ограниченную решающую способность естественного языкового (звукового) знака, связанную с его конкретно-временной привязкой к действительности. Как только произошел отрыв языкового знака от его онтологического корня (говорящего индивида в его пространстве-времени), развитие человеческого общества вступило в качественно новую фазу, которую можно охарактеризовать как фазу *научного познания мира*, ибо научное познание — это познание, выходящее за пределы чистой феноменологии, а функционирование естественного языка большей частью носит именно феноменологический характер. При таком подходе, новозаветный постулат “В начале было Слово” приобретает новый смысл — а именно, познание человеком мира и себя в мире началось со слова как стабильной данности бытия, существование которой не зависит от конкретных пространственно-временных параметров. Однако данное допущение с очевидной неизбежностью возвращает нас в порочный круг, связанный с проблемой хотя бы чисто гипотетической возможности ответа на вопрос о происхождении человека и языка. В силу отсутствия у современной науки каких-либо верифицируемых данных в этой области, равно как и более или менее непротиворечивой теории, мы вынуждены оставить попытки приблизиться к этой величайшей тайне истории человека как биологического вида до лучших времен.

Итак, не будь графического слова — не было бы лингвистики как науки; более того, не было бы никакой другой науки как определенной системы знания, обслуживающей потребности человеческого общества и призванной помочь в достижении человеком необходимого экологического равновесия в биосфере. “Чтобы изучать природу (общество и тому подобное), ее надо сначала в каком-то смысле превратить в язык, в сообщение, адресованное нам на каком-то языке (алфавит которого нам известен...)” (Мамардашвили 1997:145). Следовательно, познание мира начинается одновременно с познанием языка — сначала звукового, а затем — письменного (в тех культурах, где письменный язык существует); это сопряжение порождает *сознание*, или самосознание как феномен самоописания (по Матуране). О параллельном развитии языка и сознания говорил Ф. Ницше (1997:316).

Звуковой язык и письменный язык — это два горизонта познания: переход от одного к другому можно сравнить с тем, как если бы человек, родившийся и выросший в окруженной высокими горами долине, впервые поднялся на одну из вершин, с которой его взору открывается другой, гораздо более обширный мир, границы которого так далеки и неразличимы, что можно с известной степенью обоснованности говорить об их отсутствии. Так и письменный язык уничтожает границы возможных пределов познания, делая человека поистине “венцом творения”, намного возвышающимся над остальным живым миром. В частности, развитие древних цивилизаций, достигших поразительных успехов на пути познания (и, соответственно, освоения) мира — о чем свидетельствует уровень их материальной и духовной

культуры, — в немалой степени было обязано тому, что в их распоряжении имелся письменный язык, позволявший многократно умножать функциональную эффективность естественного звукового языка как средства активной адаптации к среде⁵.

3.4 Конвенциональность и интенциональность

“Означающая” функция языковых знаков возникает не в силу прямого соотнесения их с внешним миром, а в силу соотнесения с *человеческим опытом*, образующим основу знания. В какой мере можно соотнести понятие произвольности с результатами опыта, этой совокупности всего того, что происходит с человеком в его жизни и что он осознает? Представляется, что ответ на вопрос можно получить, оттолкнувшись от критического анализа упоминавшегося программного выступления М. В. Никитина (1997) по поводу предела семиотики.

Вступая в полемику с современными продолжателями идей Пирса, М. В. Никитин весьма категорично выступает против пирсовой теории как непродуктивной, настаивая на возврате к тем представлениям о знаках, которые были намечены Соссюром. Он обвиняет Пирса в том, что тот в своих семиотических построениях обходится без отправителя знаков, “ему достаточно было получателя”, — тем самым он якобы впадает в грех интенционального понимания знака, в результате чего и возникают “псевдознаки без отправителя — индексальные и иконические”.

⁵ О роли письменности в жизни человеческого общества подробнее см. (Olson 1994).

А. Ф. Лосев называл такие знаки “мертвыми знаками”, поскольку они являются знаками “стабильными, неподвижными, однообразными, не влияющими на человеческую волю и не зовущими к изменению действительности” (Лосев 1991:253). Знак, по Никитину, всегда интенционален и “предполагает отправителя еще в большей мере, чем получателя, так как в его определение непременно должно входить то, что это — конвенциональный транслятор значений от отправителя к получателю. Он — результат специальной конвенции” (Никитин 1997:4).

Взявшись обосновать и доказать этот тезис, Никитин уделяет основное внимание разведению между собой двух видов значения — семиотического (знакового) и импликационного (незнакового), хотя, по его же утверждению, сами знаки “несут значение обоих видов”. Поскольку источником второго вида значения (импликационного) служит не просто событие, но событие-знак, Никитин предлагает назвать его семиоимпликационным (по источнику). Далее речь идет о знаковом акте, который “всеми своими компонентами, на всех уровнях своей структуры, сам по себе и во взаимодействии со средой своего осуществления служит источником внезнаковых импликаций, т. е. воспринимается не только как знак с его знаковым значением, но анализируется во всей полноте его сторон как целостное явление и тем самым из него извлекается масса разнообразной информации... В конечном счете получатель извлекает некий суммарный итог взаимодействия кодифицированного семиотического и некодифицированного семиоимпликационного значения знаковых актов” (Никитин 1997:7). Смысл приведенной цитаты позволяет предположить, что Никитин несколько неточно интерпретирует то, что Пирс говорил о знаках вообще и об индексальных знаках в частности.

В своих “Элементах логики” термином “индекс” Пирс обозначил знак, “который отсылает к своему объекту не столько из-за какого-то сходства или аналогии с ним, и не потому, что он ассоциируется с общими свойствами, которыми обладает этот объект, а потому, что он находится в динамической (включая пространственную) связи как с индивидуальным объектом, с одной стороны, так и с чувствами или памятью лица, которому он служит знаком, с другой. Ни один факт действительности не может быть констатирован без использования какого-нибудь знака, служащего индексом” (Peirce 1960:170). Нетрудно видеть, что упор в этом определении сделан на *феноменологическую природу знака* (включая и языковые знаки), т. е. именно на ту его сторону, которая долгое время оставалась за пределами внимания лингвистики.

Однако еще Гераклит обращал внимание на главное эмпирическое свойство мира (и, соответственно, языка как части мира), обусловленное феноменологической основой познания — вспомним его известное: “Все течет”. Последователь Гераклита, афинский философ Кратил (персонаж известного диалога Платона), продолжил эту мысль до логического завершения, когда пришел к выводу, что невозможно осуществить референцию к одному и тому же предмету дважды (ср. с гераклитовым “Нельзя дважды войти в одну и ту же реку”), поэтому референция к предмету возможна только посредством указания. Как видим, с точки зрения истории возникновения идей даже Пирс не был оригинален.

Изучение проявлений индексальности как свойства знаковых форм на разных языковых уровнях — в рамках общей теории указательности (Кравченко 1992; 1995а; 1996б) — дает весомые основания предполагать, что индексальность в той или иной степени свойственна любому знаку, т. е. не существует символов в

чистом виде, да это и невозможно в принципе на чисто логических основаниях, что в свое время подчеркивал Пирс. М. В. Никитин настаивает на необходимости исключить индексальное значение из предмета семиотики, ограничив его исключительно конвенциональным значением. Почему? Очевидно потому, что понятие знаковой индексальности у Никитина ассоциируется с проявлениями исключительно натурфактов — об этом говорят приводимые им примеры типа красного заката как знака ветреной погоды или отражения неба в воде. У Пирса для наглядности в качестве типичного примера индексального знака также приводится естественный знак — дым как указание на огонь, с которым он связан. Однако это вовсе не означает, что под индексом Пирс понимает исключительно естественные знаки, так как он, в принципе, не отвергает сентенциональную парадигму.

И тут, возвращаясь к проблеме соотношения конвенционального (знакового) и импликационного (незнакового, по Никитину) значения, представляется уместным спросить, а “откуда есть пошло” это самое конвенциональное значение и почему оно всегда в паре с импликационным? Нет ли здесь “кровного родства” по признаку производящего начала? И что является этим началом? Как кажется, ответ на этот вопрос лежит в той части знакового акта, который у М. В. Никитина остался как бы в стороне, а именно, в процессе извлечения знания из мира и его сохранения в знаке (см. предыдущие разделы).

Таким образом, мы подходим к осознанию того, что знак, если только он призван служить стабильным средством сохранения и передачи информации, с необходимостью должен быть абстрактной сущностью (отсюда, в частности, идет определение языкового знака как материально-идеального образования). Казалось бы, этому требованию отвечает большинство языковых

знаков, подпадающих под определение символа в духе Соссюра, Лосева и др. — т. е. как произвольного знака, характеризующегося конвенциональностью значения. Схематически, эта условность обычно иллюстрируется известным семантическим треугольником Огдена - Ричардса (Ogden, Richards 1923). При подходе к языку со структуралистских позиций, т. е. как к автономной знаковой системе, такое понимание языкового знака не вызывает особых возражений, но если отказаться от во многом условного разделения языка и речи, возникают некоторые сомнения.

1. Слово — как типичный языковой знак — материально в каждый отдельный момент своего существования (будь то в языке или в речи), оно находится в пространственно-временной связи с множеством других материальных сущностей, образующих его бытийный контекст, или среду, поэтому естественно, что изменение этого контекста ведет к изменению набора и характера связей, в которые оно (слово) вступает. Следовательно, набор ассоциаций, образующих у человека то, что можно назвать “опытом знака”, и потому связанных с закрепленной за знаком информацией, может варьировать.

2. Пространственно-временное бытие знака как материальной сущности неизбежно предполагает его изменение (в физическом смысле), т. е. форма знака оказывается не постоянной, раз и навсегда данной, она способна претерпевать значительные изменения (что блестяще доказывает сравнительно-исторический метод в языкознании). Эти изменения, в свою очередь, ведут к изменению характера связей знака с другими сущностями (включая другие знаки), а это не может не сказываться на “опыте знака”, от которого отталкивается пользователь, и на информации, образующей содержание знаковой формы.

3. Следовательно, связь между формой знака (означающим) и ее содержанием (означаемым) на каждый данный момент нель-

зя считать абсолютно произвольной в той мере, в какой нельзя считать произвольным характер закрепляемых за знаком ассоциаций, обусловленных опытом знака.

4. Собственно ассоциации, о которых идет речь, есть не что иное, как концепты — в прототипе бинарные ментальные структуры, являющиеся оперативными единицами сознания в усвоении и представлении опыта. Таким образом, материальность знака, с одной стороны, и феноменологические корни концептов, репрезентируемых знаком, с другой, не позволяют охарактеризовать знак как чистую абстракцию, а это означает, что символов (в духе Соссюра, Бюлера, Никитина и др.) в чистом виде *не существует в принципе*. Если это так, то значение любого языкового знака не может быть описано с исчерпывающей полнотой. Истинность подобного утверждения сегодня мало у кого вызывает сомнения. Означает ли это, что проблема языкового значения в принципе неразрешима? Думается, что нет.

В когнитивной парадигме языкового анализа значение знака связывается с его способностью активизировать в сознании интерпретатора концепт (или совокупность концептов), ассоциированный с данным конкретным знаком на тех же основаниях, на которых отправитель принимает решение выбора в пользу одного из потенциально возможных знаков, могущих служить для репрезентации этого же концепта. Процесс адекватного истолкования языкового знака (понимание в обычном смысле слова) есть, по сути, процесс возможно наиболее точного исчисления этих оснований. Чем менее точно определены эти основания, тем больше вероятность расхождения между вложенным и извлеченным знанием (отсюда — проведение различия между “значением” знака и его “смыслом”). Осознание этого отразилось в вводе в лингвистический обиход понятия “значение говорящего”, поскольку, говоря словами Р. Лангакера, “не существует двух говорящих,

пользующихся одной и той же идентичной языковой системой” (Langacker 1987:386). Значение говорящего принято противопоставлять конвенциональному значению как отходящее от некоторых общепринятых в данном языковом сообществе норм и правил интерпретации знаков. Но нормы и правила есть всего лишь отражение некоего совокупного обобщенного опыта, а не предписанные кем-то установления директивного порядка, которые не должны нарушаться. Так, пиво — это напиток, приготовленный из воды и солода по особой технологии, и если кто-то выливает себе на голову бутылку пива, оно не перестает от этого быть пивом. Другой вопрос, какую цель в подобном случае преследует пользователь (они могут быть самыми разными), но если исходить из того, что этот человек психически здоров, мы скорее всего начнем искать возможное объяснение такому нетрадиционному использованию пива, пытаясь соотнести явление с тем опытом, который имеется в нашем распоряжении (в частности, еще не так давно женщины использовали пиво подобным образом для закручивания волос).

Аналогичным образом обстоит дело и в случае девиантного употребления знака, и если мы обладаем достаточным опытом знака, опытом отправителя этого знака и опытом мира, в котором существуем мы, отправитель и знак, то мы, как правило, в состоянии исчислить (пусть не с абсолютной точностью) основания выбора в данном случае именно этого знака, а не любого другого из возможных (ср. с импликатурами П. Грайса). Этот процесс, в частности, лежит в основе таких характерных для естественного языка явлений, как метонимия и метафора.

Итак, знак — это не только средство передачи знания, как мы уже говорили, но и средство его сохранения, т. е. некоторая форма, наполненная определенным содержанием — но содержанием не в смысле представления о познанной сути явления, пред-

стающего в этой форме, а в смысле преломленного в сознании опыта отношения этого явления к другим вещам или явлениям в существующем мире. Сам по себе красный закат вовсе не обязательно предвещает ветреную погоду — он может быть следствием далекого степного или лесного пожара, необычных аномальных явлений в атмосфере и т. п.; лишь накопленный опыт позволяет человеку (интерпретатору) установить относительно регулярную связь между цветом заката и возможным изменением погоды, и эта связь и становится тем самым “вложенным” содержанием. Таким образом, красный закат становится знаком в том смысле, что он, вследствие усвоенного опыта, является носителем информации, не будучи интенционально произведенным человеком.

Ведь отправитель, интенционально употребляющий знак, не извлекает его из некоего обезличенного хранилища форм, в которые вложены (кем? когда?) так называемые конвенциональные значения. Он прибегает к помощи знака, усвоенного и освоенного им в процессе накопления личного опыта о мире, в той пространственно-временной, географической, исторической, культурной и т. п. среде, частью которой и является самый язык. Разные стороны этого опыта так или иначе накладываются на тот комплекс психических (ментальных) ассоциаций (= концепт), который получает общественно значимое закрепление в отдельном конкретном знаке, поэтому у каждого отправителя всякий знак оказывается пропущенным через сознание наблюдателя в его, знака, связи с самыми разными вещами и событиями. Именно эту особенность знака следует связывать с понятием индексальности в духе Пирса — и именно в этой особенности отказывает знаку В. М. Никитин.

Однако все виды импликаций, составляющих (опять же, по Никитину) “некодифицированное” значение, есть не что иное,

как та часть знаний, которая “включается” в процесс интерпретации знака указанием на лицо, употребляющее этот знак. Чем меньше у интерпретатора (получателя) знака объем фоновых знаний о среде, в которой осуществляется речемыслительная деятельность отправителя знака, тем меньше объем импликаций, которые этот знак способен вызвать.

Так, маленькому ребенку цвет заката равным счетом ничего не говорит ввиду отсутствия соответствующего опыта, а потому красный закат не является для него знаком в каком-либо приемлемом смысле слова. Но точно так же не является для него знаком и любое произнесенное кем-то слово при условии, что оно является новым или неизвестным. “Не только ребенок, но и взрослый, недостаточно знакомый с каким-нибудь специальным языком (например, медицинским, ботаническим, химическим, математическим и т. п.), в некотором отношении похож на семантического афазика. Слова, по внешнему облику вполне совпадающие со словами его родного языка, плохо сочетаются для него в смысловые ряды” (Жинкин 1998:66). Иначе говоря, то, что по определению является произведенным знаком для определенного сообщества, вовсе не обязательно выступает в этой роли для каждого члена этого сообщества, способного его воспринять. Для человеческого индивида слово становится знаком только после того, как оно входит — в качестве связующего, опосредующего элемента — в систему устойчивых ассоциаций между предметами и явлениями мира, образующих определенный ментальный конструкт (концепт), который, в конечном счете, и составляет основу того, что принято называть значением знака. Система этих ассоциаций самым непосредственным образом связана с условиями (в широком смысле), в которых происходит усвоение знака, а потому для каждого конкретного индивида набор совместно встречаемых сущностей, образующих им-

пликацию, индивидуален. Говоря словами Дж. Локка (1960:406), “в устах каждого человека слова обозначают те идеи, которые у него имеются и которые он хотел бы выразить ими”.

Например, озвучивание слова *каша* в сознании одного индивида ассоциируется с манной крупой, сваренной на молоке с сахаром, у другого — с гречкой или пшеном, сваренным на воде с солью и заправленным маслом, у третьего — с чем-то еще, и если эти ассоциации не могут быть извлечены интерпретатором из отправленного ему знака, нельзя говорить о том, что он в полном объеме воспринял значение, вложенное в этот знак отправителем. Аналогичные рассуждения находим у Б. Рассела: “При помощи вербального определения вы можете узнать, что пятиугольник есть плоская фигура с пятью сторонами, однако ребенок не этим способом узнает значение таких повседневных слов, как “дождь”, “солнце”, “обед” или “кровать”. Таким словам обучают, произнося нужное слово с особым ударением, когда ребенок видит соответствующий объект. Вследствие этого значение, которое ребенок должен связать со словом, является продуктом его личного опыта и имеет различия в соответствии с обстоятельствами и его воспринимающей способностью. Ребенок, который часто видит мелкий морозящий дождь, свяжет со словом “дождь” другую идею, чем ребенок, который видел только тропические ливни. Близорукий и нормально видящий ребенок свяжут различные образы со словом “кровать” (Рассел 1997:15).

В экстремальном случае объем импликаций может быть равен нулю, т. е. значение знака в этом случае будет чисто конвенциональным (опять же по Никитину, в духе сосюрдовской парадигмы) — но сохранит ли при этом знак свою способность выступать в роли репрезентанта знания, в чем, собственно, и состоит его предназначение? Ответ на этот вопрос представляется очевидным.

Подводя краткий итог высказанным соображениям о содержательной сущности знаков вообще и языковых знаков в частности — и, в связи с этим, о границах семиотики, определяемых ее предметом — можно констатировать, что между семиоимпликационным значением по Никитину и индексальным значением по Пирсу нет принципиальной разницы, так как оба, в сущности, говорят об одном и том же. А если это так, то тот предел, который М. В. Никитин положил семиотике, предстает всего лишь как стремление втиснуть в прокрустово ложе структурализма то, что из него явно выросло.

Глава 4.

СУЩНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ЯЗЫКА

4.1 Вводные замечания

Языкознание — одна из немногих наук, в которой на протяжении обозримой исторической эпохи практически не происходило революционных перемен, связанных с изменением понимания изучаемого ею предмета в результате открытий, как это имело место во многих естественных науках — за исключением “открытия” в 19 в. санскрита и развития в этой связи сравнительно-исторического метода, сыгравшего большую роль в современном становлении науки о языке, и так называемой “хомскианской революции” в середине 20 в. В общем и целом тот базовый понятийный инвентарь, которым сегодня пользуются лингвисты в изучении и описании языка, унаследован от классического языкознания как части философии, и он естественно несет на себе отпечаток рационалистического (логического) подхода к языку.

Особенность языка как эмпирического объекта изучения состоит в том, что любой взгляд на него как знаковую систему человеческой коммуникации с необходимостью оказывается интроспективным. То или иное осмысление сущностных характеристик языковых знаков происходит в результате мыслительной деятельности, которая на уровне репрезентации в значительной мере является вербальной, то есть знаковой. Это аналогично тому, как если бы мы пытались определить сущность камня как

онтологической категории посредством разбивания его с помощью другого камня: разбившийся камень даст нам некоторое представление о своем внутреннем устройстве, и мы узнаем также, что он не такой твердый, как другой камень; но значит ли это, что нам открылась его сущность, т. е. некоторый набор прототипических свойств, делающих камень (по крайней мере, в нашем сознании) камнем?

Сущностные свойства всякого объекта выявляются лишь через множественные связи и отношения, в которых он находится с другими объектами — как подобными ему, так и *принципиально отличными*. Ситуация здесь аналогична той, которую описывает К. Льюис (1983:221):

“Если бы кто-либо захотел, например, усвоить значение какого-нибудь французского слова только с помощью французского толкового словаря, то при недостаточном знакомстве с французским языком ему пришлось бы сначала устанавливать по словарю значения тех слов, которые входят в определение искомого слова, затем устанавливать значения тех слов, через которые в словаре определяются значения пояснительных слов и т. д., и т. д. Таким образом, человек создал бы довольно хорошую модель языковых отношений между данным словом и другими словами французского языка. Если бы по идеальному стечению обстоятельств можно было довести такой процесс до логического конца, то наш полиглот охватил бы полностью и с совершенной точностью языковую модель, соотносящую значительный корпус слов иностранного языка, но при этом, очевидно, он так и не узнал бы, что значит каждое из этих слов. То, что при этом все-таки узнается, было бы *языковым значением*, а то, что при этом ускользает, является *смысловым значением*.”

Разведение между собой языкового и смыслового значения, или, просто, значения и смысла (*meaning and sense*), идущее от Г. Фреге (см. Geach & Black 1952, Katz 1990), является важным концептуальным поворотом в направлении изучения общей про-

блемы значения. Осознание того, что на основании только лишь соссюрговских “чистых значимостей” решить эту проблему невозможно, заставило лингвистов расширить исследовательский горизонт, выйдя за пределы собственно языковой системы и обратившись к тем сопряженным областям реального мира, без и вне которых не существует язык. Отнюдь не случайно, что одной из отличительных черт языкознания на современном этапе стал экспансионизм, проявившийся в интеграции науки о языке с комплексом других наук. Экспансионистский характер, который приняло языкознание, далеко не в последнюю, а может, даже, в первую очередь был вызван тем, что кардинальный вопрос языкознания, вопрос о языковом значении, до сих пор остается нерешенным. Хотя разведение значения и смысла плодотворно в том плане, что оно позволяет несколько глубже проникнуть в суть проблемы значения вообще, увидев в ней новые грани, оно не приблизило исследователей к пониманию того, *как работает языковой знак*, в частности, ибо значение и смысл в том виде, как они понимаются в современной науке (см. напр. Taschek 1992, Барулин 1994) — всего лишь следствие семиотических процессов, особенности которых, особенно учитывая достижения современной когнитивной науки, изучены явно недостаточно.

Вопрос о когнитивной значимости языка, которым задавался Фреге, не получил разрешения ни в работах его идейных последователей (см. напр. Evans 1982, Bach 1987, Vanderveken 1990), ни у представителей так называемой новой теории референции, которые хотя и выступают с анти-фрегеанских позиций, на деле продолжают оставаться в рамках той же рационалистической парадигмы.

Предпринимались даже попытки вообще развести семантику и когницию на том основании, что отношения между словами и миром порождаются не отношениями слов к мыслям и мыслям к

миру, а напрямую определяются такими независимыми от разума факторами, как соссюрговское “соглашение”, указание и контекст, т. е. имеют социальную природу (Wettstein 1991). Однако нельзя не согласиться с Р. Джекендоффом в том, что объяснить, как люди пользуются языком, значит объяснить, как они *схватывают* соотношение между языком и миром. При этом надо помнить, что хотя “мир” воспринимается как внешний по отношению к наблюдателю, он наполнен сущностями, которые, строго говоря, существуют только благодаря тому, что наблюдатель *строит* мир (Jackendoff 1997).

Здесь настало время сделать оговорку: читатель, ожидающий, что ему будет предложен долгий и основательно иллюстрированный экскурс в историю вопроса, будет разочарован, ибо я не ставлю здесь целью подробный критический разбор хотя бы основных направлений, по которым шел и продолжает идти поиск все время ускользающего ответа. Необходимые сведения можно почерпнуть в большом количестве литературы, посвященной этой проблеме, равно как и в лингвистических энциклопедических словарях.

Но о чем же тогда пойдет речь? О том, что иногда полезно и продуктивно бывает отвлечься от того, что навязанная нашему сознанию — в языке и через язык — картина мира якобы построена на основе объективного (= “истинного”?) знания, накопленного и проверенного множеством предшествующих поколений мыслителей, и задать себе простой вопрос: какие у меня есть основания принимать изреченную кем-то мысль за истину? Как согласуется то, что мне дается в виде готового знания, подлежащего усвоению, с тем, что я знаю и думаю о мире, с тем опытом, который я извлекаю из взаимодействия с этим миром, а также с тем, что подсказывает интуиция? Наконец, одним из самых ин-

тригующих является вопрос, что значит выражение “знать что-то” вообще, и “знать значение знака”, в частности?

Как указывал Ф. Ницше, “убедительность результатов познавательной деятельности не определяется степенью истинности, а тем — насколько давно они были достигнуты, прочно ли усвоены и способны ли быть условием жизни” (Ницше 1997:176; см. Millar 1991). Это значит, что многое из того, в чем мы убеждены (читай: “что мы усвоили как готовое знание, не нуждающееся в верификации”), отнюдь не обязательно истинно, но если это не мешает нам жить, мы не ощущаем дополнительных проблем гносеологического характера.

Более того, именно благодаря тому, что привычка человека часто становится его второй натурой, сам факт того, что мы к чему-то привыкли, “приросли” на уровне мирозерцания, обычно препятствует даже появлению желания усомниться в прописных истинах. А очень многое из теоретического багажа, накопленного современным языкознанием, как раз и представляет собой этакий свод прописных истин, усомниться в которых — все равно, что совершить святотатство, подняв руку на нечто, освященное временем и традицией. Нельзя не вспомнить в этой связи предостережение Н. И. Жинкина о том, что “самое опасное — это тот случай, когда традиционно сложившаяся интерпретация бессознательно действует так, что человек проходит мимо фактов и даже не хочет обращать на них внимание” (Жинкин 1998:80).

Я тут же хочу успокоить благоверного читателя, начинающего в недоумении хмурить брови: я вовсе не собираюсь ниспровергать авторитеты, поскольку убежден, что занятие это малопривлекательное и неблагодарное. Наоборот, я искренне преклоняюсь перед большим количеством светлых умов, обогативших человечество плодами напряженной мыслительной деятельности, тем более, что нередко судьба этих мыслителей складывалась не

особенно благоприятно в плане научного признания или широкого распространения их идей, зачастую опережавших свой век. Я просто приглашаю поразмышлять над некоторыми очевидными и привычными, а потому кажущимися простыми, вещами с единственной целью: заставить задуматься над тем, насколько хорошо мы знаем то, что мы, как нам кажется, хорошо знаем. И что, собственно говоря, мы знаем?

4.2. Значение и смысл, или проблема определений

“*A* значит *B*, если *A* выступает в качестве того, что представляет или означает (сигнифицирует) *B*, т. е. если *A* выступает вместо *B* или вызывает *B* в воображении” (Льюис 1983:211). Поскольку значение есть определенное отношение, возникающее между некоторыми сущностями в семиозисе, постольку его изучение и анализ должны отгалкиваться от базовых понятий семиотики, ибо “семиотика не покоится на теории “значения”, напротив, термин “значение” нуждается в разъяснении с точки зрения семиотики” (Моррис 1983:75).

В современной науке — неважно, о какой отрасли знаний идет речь — давно и прочно утвердился рационалистический подход, идущий от Платона к Декарту, Лейбницу и Канту. Известное декартово *Cogito ergo sum* легло в основу современных рационалистических теорий познания, одновременно создав так называемый “парадокс знания”: с одной стороны, нет другого пути кроме как признать, что наши ощущения и впечатления о положении дел основаны на реальных фактах, существующих в мире, и потому на них можно положиться; с другой стороны, нет пути к познанию мира кроме как человеческие категории знания.

Это привело к кризису в философии, который она продолжает испытывать и сегодня.

В языкознании рационалистический подход особенно ярко проявился в работах представителей так называемого лингвофилософского направления (Б. Рассел, Дж. Фодор и Дж. Кац, Г. Райл, П. Стросон, П. Гич, П. Зифф, К. Доннеллан, С. Крипке, В. Куайн и мн. др., см. Rosenberg & Travis 1971). Поскольку общезначимые формы рационального мышления изучаются наукой логикой, логический подход к анализу языка представляется первым и очевидным шагом, который должен сделать всякий уважающий себя лингвист (см. Allwood, Anderson, Dahl 1977, Dummett 1981, Hornstein 1986, Johnson 1989, Stabler 1993, Bentham, Meulen 1997, Carpenter 1998, Fox 2000). Например, Д. Вандервекен так определяет цель своей монографии, посвященной проблеме значения: "Главная и основная цель этой книги — использовать возможности современной логики для адекватной характеристики ... различных семантических понятий" (Vanderveken 1990:53).

В отечественном языкознании ориентацией на логическую парадигму отмечены работы целой группы ученых во главе с Н. Д. Арутюновой, издающиеся в специальной серии, которая так и называется: "Логический анализ языка".

Предмет логики традиционно имеет три аспекта: онтологический ("логика вещей"), гносеологический ("логика понятий") и формальный ("логика доказательств и опровержений"); следовательно, логический подход к анализу языка должен учитывать их в том смысле, что не должно быть неясности относительно того, рассматривается ли некоторое языковое явление только в одном из этих аспектов, либо в их совокупности. Так, если мы в популярном логическом справочнике читаем: "ЗНАЧЕНИЕ — объект, обозначаемый нек-рым символом" (ЛСД

1994:48), мы по умолчанию понимаем, что речь идет о значении как свойстве элемента искусственной знаковой системы, т. е. мы знакомимся с определением значения как оно трактуется в языке *формальной логики*. И именно потому, что этот язык — искусственный, т. е. продукт чистой интенции, употребление термина "символ" в смысле "знак данного языка" вполне оправданно и закономерно.

Однако если мы попробуем воспользоваться этим определением в отношении знаков естественного языка с учетом онтологических и гносеологических аспектов логики, мы окажемся в положении Алисы на известном чаепитии: мы понимаем, что какой-то смысл в том, что происходит, должен быть, но понять его оказываемся не в состоянии. Во-первых, как мы уже могли видеть (см. гл. 2), символ и знак не совсем одно и то же, а точнее, далеко не одно и то же, и если речь идет о естественном языке, использование термина "символ" по отношению к субстратным единицам языка представляется неуместным. Во вторых, если утверждение "значение — это обозначаемый символом (= знаком) объект" истинно, а под объектом понимается вещь или предмет, то каждому знаку языка должен соответствовать свой уникальный объект, так как знак — это эмпирическая сущность, обладающая значением. При этом неизбежен вывод о том, что знаков должно быть столько, сколько человек способен выделить объектов — иначе как вообще было бы известно о том, что такие-то объекты существуют? Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что это не так, и количество знаков естественного языка (которому если и свойственна интенциональность, то совсем другого рода, нежели в случае искусственных языков) на порядки меньше, чем количество сущностей, категоризованных с помощью этих же знаков как объекты.

Более того, сам язык говорит нам о том, что значение не может быть уравнено с обозначаемым знаком объектом, поскольку существует ограничение на вступление терминов “знак” и “предмет” в идентичное предикативное отношение. Мы говорим: *Знак обладает значением; Этому знаку свойственно такое значение*, но утверждения типа **Знак обладает объектом; *Этому знаку свойствен такой объект* противоречат нашим интуитивным представлениям о том, какого рода отношения в реальном мире возможны между онтологическими категориями “знак” и “объект”. Очевидно, это противоречие связано с нарушением общих таксономических принципов, в частности, в сфере родовидовых отношений, поскольку “знак” является гипонимом по отношению к гиперониму “объект”, а гипонимия определяется в терминах односторонней импликации.

Выход из этого затруднения, на первый взгляд, представляется возможным через разделение объема понятия термина “объект”. Противопоставив *реальный объект* (т. е. эмпирическую сущность) *идеальному объекту* (т. е. абстрактному понятию), мы можем внести уточнение в рассматриваемое определение: “ЗНАЧЕНИЕ — идеальный объект, обозначаемый некоторым символом”. В этом случае следующим шагом должно быть (а) рассмотрение онтологических характеристик реального и идеального объекта с целью установления их сходств и различий, (б) решение вопроса о месте и роли двух типов объектов в семиозисе, ведущее к (в) определению онтологического и гносеологического статуса знака как объекта.

Но этим трудности, с которыми мы сталкиваемся, не ограничиваются, поскольку остается неясным, как быть с субъектом: с одной стороны, возможности естественного языка позволяют оперировать этим понятием с помощью знаков определенного типа, известных как “эгоцентрики”, “дейктики” или “инди-

каторы”¹. С другой стороны, механизм знакового отношения (т. е. “знак — субъект”) в этом случае существенным образом отличается от механизма отношения “знак — объект”, поэтому даже если с известной долей условности допустить, что субъект как онтологическая категория есть разновидность объекта, это не снимает проблемы однозначного определения понятия “значение”. Но если однозначное определение невозможно, мы невольно оказываемся в сфере действия принципов *вероятностной логики*, что еще более усложняет задачу.

Подход к определению того, что есть значение, на чисто логических (формальных) основаниях, сталкивается с серьезными трудностями, преодолеть которые сторонникам рационалистического подхода к языку, особенно приверженцам так называемой истинностной семантики (truth semantics), до сих пор не удалось — несмотря на неоднократно предпринимавшиеся попытки². Об объяснительной неадекватности такого подхода уже упоминалось в литературе (Jackendoff 1983, Seuren 1985, 1998, Lakoff 1987, Fillmore 1986, Павленис 1983, 1986, Петров 1987, Даммит 1987, Ludlow 1993, Gärdenfors 1999).

Дело в том, что “истинность” как пропозициональное свойство соответствия положению дел самым непосредственным образом зависит от когнитивных условий формирования самой пропозиции. В частности, следует учитывать то, в какой степени содержание сказанного зависит от индивидуальных ощущений и чувств говорящего, т. е. необходимо брать в расчет точку зрения наблюдателя (см. Кравченко 1992). Это понимание было уже в

¹ Проблема соотношения объемов понятий, вкладываемых в эти термины, рассматривается в (Кравченко 1992).

² В качестве недавнего примера логического обоснования семантики можно упомянуть работу М. Крессвелла (Cresswell 1994).

античности у софистов, указывавших, что есть такие элементы мысли, которые не находят выражения в высказывании, равно как и не могут быть извлечены из него, тем не менее, они участвуют в формировании значения и условий истинности.

Хотя для носителя русского языка вопрос “Что значит “знать значение знака”?” звучит вполне естественно, с точки зрения логики языка, особенно той, которой его наделяют структуралисты и которая сводится к отношениям между “чистыми (внутрисистемными) значимостями”, здесь нет ничего, кроме тавтологии. Действительно, *значит, знает, значение, и знак* — все имеют общий корневой элемент, т. е. концепты, ассоциируемые с этими словами, хотя и отличаются как целостные ментальные структуры один от другого, имеют, тем не менее, одно общее ядро. О чем это говорит? О том, что точно так же, как нельзя понять природу того, что мы называем знанием, без решения проблемы языкового значения, нельзя и решить эту самую проблему, не поняв природы знания.

Рационалистическая парадигма в языкознании (в частности, в семантике) исходит из основополагающего допущения, что знание, по крайней мере в том виде, в каком оно находит отражение в языке, представляет собой поддающийся экспликации набор логических операций и процедур (поэтому неслучайно появление в рамках общей теории значения такого направления, как *процедурная семантика*), позволяющих устанавливать истинность или ложность пропозиций как содержательных структур так называемых полных языковых знаков, или предложений/высказываний (Larson, Segal 1995, Platts 1997). В этом смысле семантика как учение о значении оказывается в одном ряду с логикой и математикой, так как везде предполагается метод логического исчисления (см. Tarski 1956, Seuren 1998, Keenan, Stabler 2000). С этих позиций, “знать что-то” означает “иметь

достаточно оснований верить в истинность/ ложность некоторого утверждения”. Но что выступает критерием достаточности оснований? Все то же *ratio*, ибо вне его принципы формальной логики не применимы — ведь они строятся на некотором наборе исходных аксиом. Я глубоко убежден в том, что аксиоматичность как аналитическая составляющая метода в принципе исключает непредвзятый подход к анализу языка, но так как непредвзятый подход тоже невозможен — и это аксиома, вытекающая из идей В. фон Гумбольдта и гипотезы Сепира-Уорфа³ — то мы оказываемся в порочном круге, выход из которого в рамках рационалистической парадигмы вряд ли возможен.

По мнению Д. Золо, логический анализ остается всегда локальным и временным — за неимением лучшего (Zolo 1989). В этой связи понятен и оправдан призыв пересмотреть цели традиционной семантики, поглощенной проблемой экспликации понятий истинности и ложности предложений, поскольку семантику следует рассматривать не с точки зрения системы логических отношений, а с точки зрения структуры человеческого организма, т. е. настоящая теория значения слов должна быть богаче, чем стандартные логические модели (Jackendoff 1997:543, 550). Как указывает Р. Джекендофф, традиционное определение истины в духе Тарского должно быть реинтерпретировано как проблема суждения: в этом случае, истина больше не рассматривается как отношение между предложением и миром, а скорее как отношение между предложением и картиной мира говорящего.

³ В данном случае языковой релятивизм рассматривается как фактор, определяющий выражаемую через язык концептуальную канву мысли; эта канва, отличаясь от языка к языку, сохраняет при этом общую основу в виде сильных когнитивных универсалий. Я против экстремизма (как отрицательного, так и положительного) в толковании этой гипотезы.

Беда традиционного языкознания состоит в том, что оно в буквальном смысле слова вынуждено ходить по заколдованному кругу в поисках разрешения парадокса, который оно само и создало, отделив язык от мира и противопоставив один другому. Самое интересное здесь то, что основания этого противопоставления никогда не были последовательно и убедительно аргументированы.

Думается, что здесь подспудно прослеживается влияние религиозных верований относительно божественного происхождения языка: Бог сотворил человека по своему образу и подобию в последнюю очередь, когда мир и все, что есть в нем, уже существовали (пусть и недолго); поэтому Человек — «венец Творения». Наделяя человека божественным даром — языком, призванным служить для именования всего сущего в мире — Бог должен был позаботиться о том, чтобы в языке для этого было все необходимое, не менее, но и не более того. Это значит, что между миром и языком с самого начала должно было быть однозначное соответствие в смысле отраженности, представленности мира в языке (у Гераклита это соответствие, напротив, вытекает из естественной природы логоса, Логос — часть самой природы, внутренне присущая ей, поэтому Логос есть Бог).

Из этого вытекает следующее важное положение, сыгравшее существенную роль в становлении идеологии языкового пуризма: язык должен сохраняться в первоизданной чистоте, любые изменения в нем ведут к загрязнению и порче, а потому должны пресекаться. Эта идеология определяла отношение к языку еще у представителей александрийской школы в 3 - 1 вв. до н. э.

С другой стороны, мир не есть застывшее собрание неизменных сущностей, ибо изменению в нем подвержено все. Но тогда и язык, если только он с необходимостью должен сохранять соответствие миру, должен изменяться. Это порождает ди-

лемму: если язык имеет божественное происхождение, он не должен изменяться — но тогда перестает действовать условие соответствия языка миру. Если же язык изменяется вместе с изменением мира, значит он — часть этого мира, но тогда каков характер отношения между языком и миром?

Этот простой на первый взгляд вопрос — ключ ко всей философской проблеме (по)знания (Brook, Stainton 2000). В зависимости от ответа на него, философские концепции знания характеризуются либо как идеалистические, либо как натуралистические, либо как смесь тех и других, при этом ни те, ни другие до сих пор не могут решить проблемы истины как критерия знания, поскольку эта проблема — семантическая по своей природе, т. е. связана со значением языковых знаков и принципами (правилами?) их интерпретации. Решение философской проблемы (по)знания *невозможно без решения проблемы языкового значения*. И здесь на передний план выступает семиотика как наука о знаках в широком ее понимании.

Семантика как учение о значении языковых знаков продолжает находиться под доминирующим влиянием философов-рационалистов. Эта традиция идет еще от Аристотеля, выделявшего два понятия истины как соответствия: истина как свойство *мысли*, и истина как свойство *сказанного*. И в том и в другом случае, истина есть свойство, заключающееся в соответствии носителя свойства (мысли или предложения) действительному положению дел.

Логика Аристотеля основывалась на формальном исчислении для сохранения истинности некоторого множества предложений. Все существующие формы логики, продолжая положенную Аристотелем традицию, также строят свои процедуры исчисления на сентенциональных структурах, а не на мыслительных. Формальная семантика, будучи побегом на древе современ-

ной логики, видит своей целью установление отношений соответствия между тем, что сказано, и тем, что имеет место, а не между тем, что *мыслится*, и тем, что имеет место (Capp 1993, Link 1998). Как указывает П. Сойрен, “эта доминирующая современная парадигма лингвистической семантики не учитывает когнитивные структуры и процессы, происходящие в сознании людей, передающих значения при пользовании языком” (Seuren 1998:13). Представляется вполне очевидным, что адекватная семантика естественного языка не может быть сформулирована в абсолютном отрыве от существ, пользующихся этим языком (Israel 1987).

Осознание этого заставляет обратиться к проблеме соотношения мыслительного содержания и языковой формы (знака), посредством которой это содержание “выводится” в мир, становясь эмпирическим объектом, т. е. значением как содержательным свойством языкового знака. Суть этой проблемы сформулирована в известном “Мысль изреченная есть ложь”, т. е. между мыслительным содержанием и значением языкового выражения нет прямого (полного и однозначного) соответствия. Но если это соответствие не прямое и однозначное, то в чем оно состоит? И как в этом случае можно подступиться к проблеме определения языкового значения, преодолев семантический парадокс Фреге?

Очевидно, что вопрос упирается в возможность объективации (“натурализации”) мыслительного содержания и представления его в виде некоторых ментальных структур, поддающихся формализации. На сегодняшний день широкое распространение получила так называемая теория ментальных репрезентаций (см. Harnish, Brand 1986, Papineau 1987, Cummins 1989, Fodor 1987, 1990, Devitt 1990, Jackendoff 1992, 1996 *inter alia*). Я говорю “так называемая” потому, что, как убедительно показал С. Стич (Stich 1992), единой более или менее унифицированной

теории ментальных репрезентаций — в методологических рамках аналитической философии — нет и быть не может (см. тж. Croft 1998).

Все дело здесь не столько в неадекватности самой методологии, сколько в исходной посылке картезианской логики, которая отчетливо прослеживается во всех современных философских теориях познания (исключая концепции Матураны-Варелы и М. Мамардашвили): сознание рассматривается как независимая нематериальная (идеальная) сущность, объективируемая (реифицируемая) в языке как явление, принадлежащем миру материальному. В этом, строго говоря, и кроется корень всей проблемы, поскольку “идеализация” сознания создает неразрешимое противоречие: как может осуществляться связь между мыслью и миром, если они не имеют общей онтологии и независимы друг от друга?

Г. Райл в своей известной работе “The Concept of Mind” (Ryle 1949) наметил выход из тупика, предложив материалистический подход к проблеме сознания. В соответствии с этим подходом, все, что существует, материально (хотя сам Райл не эксплицировал этот тезис в достаточной мере), и сознание есть всего лишь совокупность предрасположенностей (материального) тела к определенному поведению, т. е. сознание предстает как комплексное свойство тела, и подходить к его изучению нужно именно с этих позиций (известных в современной науке как “редукционизм”⁴). Как будет показано в дальнейшем, Райл предвосхитил появление принципиально нового подхода к изучению

⁴ Против дуалистического подхода к проблеме сознания выступал Дж. Ферт (Firth 1957), хотя и по другим основаниям. Он считал, что человека нужно рассматривать как мыслящее и действующее целое, не задаваясь вопросом о соотношении между сознанием и телом, между мыслью и словом, т. е. в духе американского бихевиоризма.

сознания, познания и языка как эмпирических объектов когнитивной науки.

Современная программа изучения языка в этом направлении формулируется следующим образом:

“Если теория значения вступает в противоречие с реализмом, тем хуже для этой теории. Мы натуралисты в двух отношениях. Эпистемологически, мы натуралисты, поскольку отвергаем мысль о том, что философское знание является априорным. Напротив, мы считаем, что большей частью, а может быть и в целом, философская теория носит главным образом эмпирический характер... Метафизически, мы натуралисты поскольку мы физикалисты: существуют только физические объекты и физические процессы” (Devitt, Sterelny 1999:х).

Поскольку люди — часть физического мира, постольку теория языка должна быть физикалистской. Любые факты языка, в конечном итоге, должны быть физическими.

“Семантические понятия, такие, как значение, истина, референция могут использоваться только тогда, когда они могут быть объяснены в лингвистических терминах; они не являются примитивами”(там же, с. 11).

В современной теории познания под репрезентациями понимают определенные структуры сознания, включая интенциональные категории (*верить что p, желать чтобы q*), представляющие собой содержание языковых (семантических) структур на глубинном уровне, уровне сознания. Репрезентации — это концептуальные конструкторы, выводимые на основе традиционных методик философского анализа, т. е. через определение набора достаточных и необходимых условий. Но наукой уже накоплено достаточно доказательств тому, что классических категорий не существует (см. 3-ю главу). Более того, концепты, или структуры знания, связанные с интенциональной категоризацией, намного сложнее, чем те, которые предлагает традиционный философ-

ский анализ (Taylor 1996). Поэтому, если использовать традиционный метод дефиниций и примеров от противного, и если исходить из того, что понятие ментальной репрезентации не отличается от других эмпирически изучавшихся понятий, к которым прибегает здравый смысл, то в определенном смысле можно утверждать, что не может быть философской теории мыслительного содержания. В этой связи понятен и своевременен призыв “перестать заниматься философией (в традиционном понимании) и начать заниматься когнитивной наукой” (Stich 1992:250). Высказывается даже мнение, что изучение языка не должно играть той роли в философии, какую оно традиционно играло и продолжает играть, поскольку теория языка должна быть эмпирической по существу (Devitt, Sterelny 1999). Дж. Фодор (Fodor 1998) считает, что в современных условиях вряд ли стоит проводить различие между философией и когнитивной наукой: для того, чтобы избежать проблем, с которыми столкнулась философия, нужна смесь реализма, редукционизма, нативизма и семантического атомизма, вместе с репрезентационной теорией сознания.

Соглашаясь с тем, что люди — сложные составные части физического мира, обладающие свойством языковой способности, и что изучение языка несомненно должно иметь эмпирическую основу, необходимо, все-таки, подчеркнуть еще раз, что постижение природы знания и познавательных процессов (в результате которых, собственно говоря, и появляется возможность говорить о физическом мире как совокупности накопленных знаний и представлений о нем) невозможно без изучения того, где и в каком виде эти знания материализованы, т. е. без изучения языка. Думается, что призыв к разведению языкознания и философии не имеет под собой достаточных гносеологических оснований.

Развитие науки и рост накопленного за последние несколько столетий научного (с рационалистической точки зрения читай: “объективного”) знания незаметно привел к тому, что логические принципы стали применяться там, где их просто не может быть — до тех пор, пока под логическими принципами мы будем понимать некоторые закономерности построения суждений о мире, отталкивающиеся от (зачастую аксиоматического) знания, усвоенного посредством естественного языка, в котором эти знания о мире фиксируются и сохраняются. В качестве примера можно привести различные теоретические модели языкового времени, построенные с использованием логической посылки, что языковое время, отражая время *объективное* (физическое), подчинено последнему (см. напр. Дешериева 1975). Но ведь хорошо известно, что выявление физического времени как категории естественнонаучной картины мира относится к более позднему этапу развития человеческих представлений о мире, поэтому лингвистический аспект времени не может быть подчинен физическому в принципе, так как формирование языковой картины мира, и по сей день отражающей архаическое сознание человека, предшествовало формированию научной картины мира⁵. Вот что по этому поводу говорит С. Прист (2000:9):

“В науке нет места для темпоральных категорий *прошлого, настоящего и будущего*... “До”, “одновременно с” и “после” являются объективными отношениями, которые могли бы иметь место, если бы не было сознательных существ. Прошлое — всегда чье-то прошлое. Будущее — чье-то будущее. Настоящее — чье-то настоящее. Науке нечего сказать о *человеческом времени*.”

⁵ Подробнее о логике соотношения лингвистического и физического времени см. (Кравченко 1996б).

В качестве еще одного примера неадекватности рационалистического подхода к анализу языковых явлений можно привести современное положение дел в области общей теории глагольного вида, особенно применительно к русскому языку, когда то, что мы знаем о мире (в частности, о начальности и конечности любого действия, категоризируемого языком как таковое), приписывается в качестве содержательной характеристики языковой (грамматической) форме, которая якобы и отражает эти наши знания (см. напр. Dickey 2000). Но все дело в том, что нельзя изначально архаическое мировидение, определенным образом отразившееся в формах глагольного вида, подменять современным взглядом на устройство этого мира, особенно имея в виду его онтологический аспект — а как раз это и имеет место в большинстве аспектологических штудий. Не останавливаясь подробно на этом вопросе, отошлем заинтересованного читателя к нашей работе, содержащей критику современной теории вида в русском языке (см. Кравченко 1995б).

К наследию структурального и постструктурального направлений в развитии языкознания следует отнести прочно оформившуюся традицию рассматривать язык как более или менее автономную самодостаточную систему, понять и описать устройство и функционирование которой можно не выходя за пределы самой этой системы. До сих пор в лингвистической литературе, посвященной изучению и описанию тех или иных аспектов значения единиц разных языковых уровней, практикуется очень удобное в методологическом смысле деление на *лингвистические* (собственно языковые) и *экстралингвистические* (внеязыковые) факторы. К первым относится все то, что непосредственно входит в систему языка в виде составляющих эту систему элементов и их свойств, определяемых как значимостные отношения с другими элементами этой же системы (см. приводив-

шееся выше высказывание К. Льюиса о языковом значении). Ко вторым относится все то, что, в соответствии с системоцентрическим подходом, не может быть включено в сферу обычных знаковых отношений, т. е. в *семантику* или *синтактику*, а может быть объяснено лишь с привлечением информации о различных условиях, в которых осуществляется использование языка, т. е. с помощью *лингвистической прагматики* (в отличие от прагматики как раздела семиотики у Ч. Морриса, хотя отличие это, мягко говоря, надуманное).

Еще не так давно прагматика служила, по выражению Е. Бар-Хиллела, “мусорной корзиной”, куда отправляли все то, что не получало (да и не могло получить) удовлетворительного объяснения посредством семантического либо синтаксического анализа, т. е. в рамках анализа логических отношений “истинно/ложно” между утверждениями, выражаемыми посредством предложений (Bar-Hillel 1954, 1963). Сейчас уже мало у кого вызывает сомнение тот факт, что отталкиваясь только от внутрилингвистических факторов, трудно, а порой и просто невозможно объяснить особенности формирования и функционирования языковых структур. Осознание этого и привело к необходимости говорить о двух аспектах реализации знаковой функции языковых единиц — собственно значении (внутрисистемный аспект) и смысле (функциональный аспект — см. Кобозева 2000), а это, в свою очередь, предполагает рассмотрение роли индивида (антропоцентрический подход) в актах языкового употребления (коммуникации). Таким образом, прагматика стала полноправной сестрой в семействе учений о знаковых отношениях в языке, вобрав в себя все те явления, которые так или иначе связаны с *деятельностью человека в процессе пользования языком* (см. Levinson 1983, Verschueren 1999, Stemmer 1999).

В русле прагматических исследований оформились новые самостоятельные теоретические направления — такие, как теория речевых актов (Дж. Остин, Дж. Серл), прагматическая теория значения (Х. П. Грайс), прагматическая теория референции (Л. Линский, П. Стросон и др.) (см. Davis 1991, Levinson 2000). В настоящее время можно констатировать зарождение и первые шаги на пути к становлению *экспериенциальной* теории языка, сулящей большие перспективы и чреватой революционным переосмотром ряда основных положений современного языкознания (см. напр. Bod 1998).

Разведение *значения* и *смысла* как понятийных категорий в значительной степени — и это мне кажется вполне очевидным — продолжает традиции языкового рационализма, представляя собой попытку как-то объяснить то, что в рамках системоцентрического подхода к языку объяснению не поддается, а именно, как осуществляется связь между *языком и миром*. Сама по себе цель, сформулированная таким образом, заслуживает всяческого одобрения, но лингвист, встающий на эту методологическую платформу, с неизбежностью впадает в “грех аналитизма”, ибо система, не наделенная функцией — фикция, возможная только как продукт “системосозидающего мышления”.

Значение термина “функция” (лат. *functio* “исполнение”) как раз в том и состоит, чтобы недвусмысленно указать на сущностное свойство характеризуемого с его помощью объекта (элемента, структуры, системы), а именно, на его *предназначение к реализации какой-либо деятельности как своего главного экзистенциального свойства*. Деятельностный характер языка, определяемый его ролью в приспособлении человека к окружающей среде, (так называемая *регуляторная* функция языка), делает всякое его рассмотрение *вне* функциональных свойств и особенностей чисто схоластическим упражнением, тем, что можно на-

звать “искусством ради искусства” (или, в данном случае, “систематизацией ради систематизации”).

История языкознания последнего столетия богата большим количеством оригинальных системных построений, призванных объяснить устройство и предназначение языка. Собственно говоря, всякое официально признанное направление или утвердившаяся школа представляли (и представляют) собой попытки предложить в той или иной мере новое системное построение с целью преодолеть недостатки предшествующих подобных систем (в какой мере им это удается — отдельный вопрос).

Противопоставление значения и смысла, по сути, есть противопоставление системы и функции, и хотя такое противопоставление имеет право на существование как аналитический прием, вряд ли его можно рассматривать как адекватный способ решения проблемы *сущностных свойств языка*, к числу которых можно отнести следующие: (а) язык есть природный (естественный) объект, обладающий сложной структурной организацией, обусловленной его функцией, (б) язык есть деятельность по извлечению, сохранению и переработке информации с целью адаптации к окружающей среде, (в) язык одновременно есть продукт этой деятельности, то есть знаковая система, образующая информационно-бытийную среду человека. Изучение каждого сущностного свойства языка в отдельности, ценное и необходимое само по себе, не может дать полного представления о том, что представляет собой язык как *эмпирический объект*. Только ответив на этот вопрос, мы сможем с достаточной степенью обоснованности утверждать, что мы приблизились к пониманию языка. И вот тут-то, как средство для достижения этого понимания, мы вынуждены применять аналитические процедуры, разбивая единый живой организм языка на структурные части, а структурные части на составные элементы, чтобы потом, в дальнейшем, син-

тезировать полученное *частичное знание* в *целостное знание*, охватывающее все стороны и аспекты языка как целостного эмпирического объекта. При этом мы не должны забывать, что вопросы: “Что есть знание?” и “Что есть (языковое) значение?” представляют два аспекта одной общей проблемы, проблемы организации живого организма как *когнитивной системы*, т. е. системы, способной к научению через опыт.

4.3. Свойства языка как эмпирического объекта

4.3.1 Биологическая концепция языка

Как это ни странно, но в языкознании сложилась очень интересная ситуация в связи с тем, как рассматривается язык в онтологическом плане. С одной стороны, понятие “естественный язык” применительно к человеческому языку ни у кого не вызывает возражений, к нему все привыкли и пользуются им при каждом удобном случае, хотя, с другой стороны, трудно привести пример специальной лингвистической работы, где язык рассматривался бы в качестве *естественного* (эмпирического, реального) объекта. Этому, конечно же, есть объяснение, и состоит оно в том, что подобный подход к языку предполагает *метафизический* взгляд на него, т. е. восприятие данного (язык как объект) как целого, а не только в отдельных его аспектах. Одним из ранних проявлений такого подхода к языку, оказавшим заметное влияние на традиционную философию, является концепция Блаженного Августина, известная как “августинова картина (мира)”, включающая в себя язык, разум и мир (см. Philipse 1992).

Однако в связи с тем, что в 19 в. философия постаралась освободиться от метафизики, а в истории развития науки в России в определенный период термин “метафизический” был чуть ли не ругательным, возвращение к метафизике еще не осуществилось полностью — хотя, как отмечается в философских изданиях последнего времени, “действительность, на изучение которой направляют свои усилия многие отдельные науки, — только одна, и к ней, к ее простому и целостному пониманию можно приблизиться лишь с помощью метафизического способа рассмотрения” (КФЭ 1994:265).

На сегодняшний день наиболее непротиворечивой в этом отношении является биологическая концепция естественного языка. В 1970 г. чилийский биолог и кибернетик У. Матурана сделал доклад в университете штата Иллинойс в Урбане, где он занимался исследовательской работой в биокомпьютерной лаборатории (Biological Computer Laboratory). Доклад назывался “Биология познания” и содержал в себе общую концепцию биологической теории познания (1970/1996). Очень кратко суть этой теории можно свести к следующим основным положениям.

(1) Познание представляет собой биологическое явление и понять его можно только как таковое; любое понимание области знания с точки зрения эпистемологии предполагает понимание с точки зрения биологии. Стремление к такому пониманию требует рассмотрения двух вопросов: *Что представляет собой познание как функция?* и *Что представляет собой познание как процесс?*

(2) Все сказанное сказано наблюдателем. Речь наблюдателя обращена к другому наблюдателю, в качестве которого может выступать он сам. Наблюдатель — человек, т. е. живая система, поэтому все, что справедливо относительно живых систем, справедливо также относительно самого наблюдателя. Отсюда следует: *чтобы понять познание как биологическое явление, необхо-*

димо учитывать наблюдателя и его роль в познании и дать им объяснение.

(3) Живые системы суть единства взаимодействий, и существуют они в том или ином окружении. С чисто биологической точки зрения их нельзя понять независимо от той части окружения, с которой они взаимодействуют, т. е. независимо от ниши. Также и нишу нельзя определить независимо от специфицирующей ее живой системы. Живая система определяется *круговой организацией*. Эта круговая организация образует гомеостатическую систему с функцией производства и поддержания самой этой круговой организации, реализующейся благодаря тому, что *компоненты*, которые ее специфицируют, являются теми самыми компонентами, синтез или поддержание которых обеспечивается этой круговой организацией. Все особые аспекты различных разновидностей организмов налагаются на эту фундаментальную кругообразность и поддерживают ее, обеспечивая ее непрерывность в последовательных взаимодействиях в непрестанно изменяющейся окружающей среде.

Живые системы являются выводными системами, а их область взаимодействий — когнитивной областью.

(4) Наблюдатель созерцает одновременно организм и окружающую среду, при этом в качестве ниши он рассматривает ту часть окружающей среды, которая, по его *наблюдениям*, входит в его область взаимодействий. Поэтому тогда как наблюдателю ниша *кажется* частью окружающей среды, для наблюдаемого организма ниша представляет собой всю область его взаимодействий, и в этом качестве она не может быть *частью* окружающей среды, которая принадлежит исключительно когнитивной области наблюдателя.

(5) Когнитивная система — это система, организация которой определяет область взаимодействий, где она может действо-

вать значимо для поддержания самой себя, а процесс познания — это актуальное (индуктивное) действие или поведение в этой области. *Живые системы — это когнитивные системы, а жизнь как процесс представляет собой процесс познания.* Это утверждение действительно для всех организмов как располагающих нервной системой, так и не располагающих ею. *Нервная система расширяет когнитивную область живой системы, обеспечивая возможность взаимодействия с “чистыми отношениями”; познания она не создает.*

(6) Расширение с помощью нервной системы границ когнитивной области создает возможность нефизических взаимодействий между организмами, в которых взаимодействующие организмы ориентируют один другого на взаимодействия внутри когнитивных областей друг друга. В этом состоит основа коммуникации.

(7) Поскольку ниша организма — это множество всех классов взаимодействий, в которые он может вступать, а наблюдатель созерцает организм в окружающей среде, которую он сам же и определяет, постольку для него любое, отдельно взятое поведение организма выглядит как актуализация ниши, т. е. как описание окружающей среды первого порядка (Описание). Отношение между поведением и нишей принадлежит исключительно когнитивной области наблюдателя.

(8) Один организм может вносить модификации в поведение другого организма двумя основными способами:

(а) взаимодействуя с другим организмом так, что оба организма оказываются связанными друг с другом таким образом, что последующее поведение одного из них строго зависит от предыдущего поведения другого; это имеет место, например, при ухаживании или в поединке;

(б) ориентируя поведение другого организма на какую-либо часть его области взаимодействий, отличную от части, в которую входит данное взаимодействие, причем ориентация последней может сравниваться с ориентацией ориентирующего организма. Это может иметь место, если только области взаимодействий обоих организмов в значительной мере совпадают между собой. В этом случае никакой взаимосвязанной цепочки поведения не возникает, потому что последующее поведение обоих организмов зависит от исхода независимых, хотя и параллельно протекающих, взаимодействий.

В первом случае можно сказать, что организмы взаимодействуют, во втором — что они общаются (вступили в коммуникацию). Второй случай представляет собой основу для любого языкового поведения.

(9) В ориентирующем взаимодействии первого организма поведение как коммуникативное *описание* вызывает в нервной системе второго организма специфическое состояние активности. Это состояние активности воплощает в себе отношения, порожденные взаимодействием, и является репрезентацией поведения второго организма (Описанием его ниши), возникшего как коннотат ориентирующего поведения первого организма. Эта репрезентация может трактоваться нервной системой как единство взаимодействий, так что второй организм при наличии соответствующей способности может взаимодействовать с репрезентациями собственных Описаний своей ниши, как если бы они были независимыми сущностями. Все это ведет к порождению еще одной области взаимодействий (а значит, и дополнительного измерения когнитивной области), области взаимодействий с репрезентациями поведения (взаимодействий), включая и ориентирующие взаимодействия, как если бы эти репрезентации были

независимыми сущностями внутри ниши, — к порождению языковой области.

(10) Естественный язык возникает как новая область взаимодействий, в которой модификации организма вызываются его же описаниями своих взаимодействий, воплощенными в состояниях активности нервной системы. Естественный язык — по необходимости порождающий, ибо он является результатом рекурсивного применения одной и той же операции (выступающей в качестве нейрофизиологического процесса) к результатам этого применения. Новые последовательности ориентирующих взаимодействий (новые предложения) внутри консенсуальной области по необходимости понятны слушателю (ориентируют его), потому что каждый из компонентов, входящих в эти последовательности, обладает определенными ориентирующими функциями в качестве одного из членов консенсуальной области, в определение которой он вносит свой вклад. Отсюда следует принципиальный вывод о коннотативном (а не денотативном) характере языка. Стоит признать, что функция языка состоит в том; чтобы ориентировать ориентируемого в его когнитивной области, не обращая внимания на когнитивную область ориентирующего, как становится очевидным, что никакой передачи информации через язык не происходит⁶.

⁶ Аналогичную мысль последовательно проводит Р. Келлер (Keller 1998): коммуникация есть выводной процесс, а язык есть результат использования семиотического знания с целью оказать влияние на других.

Обрисованный выше подход к познанию и языку как когнитивным процессам, характеризующим живые системы, важным образом отличается от принятого в современной когнитивной науке, в центре внимания которой стоят такие когнитивные способности, как восприятие, усвоение и обработка языка, планирование, решение проблем, рассуждение, научение, а также приобретение, представление и использование знаний (Lepore, Pylyshyn 1999). Концентрация внимания когнитологов на этом круге проблем объясняется тем, что их подход к познанию исторически уходит корнями в рационализм и, в конечном итоге, связан с проблемой установления связи между мышлением и миром через язык, который служит “овеществлению” накопленных сознанием знаний о мире (прошу прощения за неизбежную тавтологию). По Матуране же, познание не является средством приобретения знания об объективной действительности, оно служит активному организму в его приспособлении к опытному миру. Именно это концептуальное различие, на мой взгляд, является причиной того, что автопойезис практически обходится молчанием в обширной литературе по когнитивной науке, хотя за время, прошедшее с 1970 г., биологическая теория познания получила дальнейшее развитие в целом ряде работ самого У. Матураны и его коллеги и соавтора Ф. Варелы. Из них необходимо упомянуть по крайней мере одну, послужившую вехой в развитии автопойетической теории: “Биология языка: Эпистемология действительности”.

“Биология языка” (Maturana 1978) — очерк о языке и взаимодействии, в котором Матурана подробно излагает свои взгляды на языковые взаимодействия. Эта работа содержит также определения ряда ключевых для автопойезиса понятий, таких как “наблюдатель”, “единство”, “организация”, “структура”, “свойство”, “пространство”, “взаимодействие”, “автономность”, “адаптация”, “восприятие” и др.

Первая часть — “Эпистемология” — содержит исходные положения, необходимые для научного объяснения языка. В частности, подчеркивается, что наука — это закрытая когнитивная область, в которой все утверждения по необходимости зависят от субъекта и действительны только в области взаимодействий, в которой обычный наблюдатель существует и функционирует. Будучи сами наблюдателями, мы обычно принимаем наблюдателя как само собой разумеющееся и, имплицитно принимая его универсальность, приписываем многие инвариантные черты наших описаний, зависящих от обычного наблюдателя, действительности, которая онтологически объективна и не зависит от нас. Поэтому, чтобы дать научное описание наблюдателя как системы, способной к описаниям (языку), в качестве отправной точки следует принять субъективную природу науки.

Далее Матурана проводит различие между двумя видами объяснения, к которым может прибегнуть наблюдатель — *механистическим* и *виталистическим*. При механистическом объяснении, наблюдатель эксплицитно или имплицитно различает между системой и ее компонентами, рассматривая систему и компоненты как операционно различные виды единств, принадлежащих отдельным множествам, порождающим непересекающиеся феноменальные области. Действительность, описываемая через механистическое объяснение, подразумевает возможность бесконечного порождения непересекающихся феноменальных областей в результате рекурсивного образования (организации) новых классов единств через рекурсивные новые сочетания уже определенных единств. В эпистемологическом плане, механистические объяснения являются изначально нередукционистскими.

В отношении виталистических объяснений, ситуация прямо противоположная. Они не проводят различий между феноме-

нальной областью, порожденной единством, и феноменальной областью, порожденной его компонентами. Действительность, описываемая с помощью виталистических объяснений, по необходимости предстает как действительность конечного числа феноменальных областей. В эпистемологическом плане, виталистические объяснения являются изначально редукционистскими.

Раздел “Живые и нервные системы” посвящен определению того, что является живой (автопойетической) системой. Живые системы — автономные сущности, даже если их конкретное существование зависит от среды. Современная биохимия показывает, что эта автономность — результат их организации как систем, находящихся в состоянии непрерывного самопроизводства. Такие системы есть *автопойетические системы*. Автопойетическая система — это закрытая динамическая система, в которой все явления подчинены ее автопойезису и все ее состояния суть состояния автопойезиса. Этот вывод имеет важное значение для понимания автономности живых систем, процесса их адаптации к среде, онтогенетического и эволюционного отбора, а также для объяснения нервной системы как системы, поведения как результата структурного согласования между организмом (динамической системой) и средой, и различия между инстинктом и обучением.

Рассмотрев принципы организации живых систем, Матурана переходит к определению того, что такое язык как свойство автопойетической системы (раздел “Язык и консенсуальные области”). Отправным понятием здесь служит понятие *консенсуальной области* как области взаимообусловленных поведений, которая возникает в результате онтогенетического взаимообразного структурного сцепления между структурно пластичными организмами. Здесь я считаю необходимым процитировать Матурану дословно:

“Язык... в настоящее время принято рассматривать как денотативную систему символической коммуникации, состоящую из слов, которые обозначают сущности независимо от области, в которой эти сущности могут существовать. Денотация, однако, не является примитивной операцией. Она требует общего согласия для спецификации обозначаемого и обозначаемого. Следовательно, если денотация не является примитивной операцией, она не может быть и примитивной языковой операцией. Язык должен возникать как результат чего-то еще, не требующего денотации для своего становления, но порождающего язык со всеми его импликациями как тривиальный необходимый результат. Этот фундаментальный процесс есть онтогенетическое структурное сцепление, появляющееся в результате установления консенсуальной области.

В пределах консенсуальной области различные компоненты консенсуальных взаимодействий не выступают в роли обозначающих; самое большее — наблюдатель может сказать, что они коннотируют состояния участников по мере того, как они приводят друг друга во взаимообусловленные последовательности изменений состояния. Денотация возникает только в метаобласти как апостериорный комментарий о последствиях действия взаимодействующих систем, который дает наблюдатель. Если первичной операцией для установления языковой области является онтогенетическое структурное сцепление, тогда первичные условия для развития языка, в принципе, являются общими для всех автопойетических систем в той мере, в какой они обладают структурной пластичностью и могут вступать в рекурсивные взаимодействия.

Языковое поведение — это поведение в консенсуальной области. Когда языковое поведение имеет место рекурсивно, в консенсуальной области второго порядка, таким образом что компоненты консенсуального поведения рекурсивно соединяются в порождении новых компонентов консенсуальной области, возникает язык” (Maturana 1978:50).

Понимание языка как поведения в консенсуальной области дает новую перспективу видения грамматики (синтаксиса) есте-

ственного языка и снимает проблему неоднозначности (как структурной, так и смысловой — см. гл. 3). В контексте того, что поведение организмов в консенсуальной области представляет собой совокупность рекурсивных операций, поверхностная синтаксическая структура или грамматика отдельного естественного языка может быть только лишь описанием регулярностей в сцеплении элементов консенсуального поведения. В принципе, говорит Матурана, этот поверхностный синтаксис может быть каким угодно, поскольку его формирование зависит от истории консенсуального сцепления и не является необходимым результатом какого-либо необходимого физиологического устройства организма. Соответственно, “универсальная грамматика”, о которой говорят лингвисты как о необходимом наборе скрытых правил, общих для всех человеческих естественных языков, может относиться только к универсальности процесса рекурсивного структурного сцепления, происходящего в человеческом организме через рекурсивное применение компонентов консенсуальной области без консенсуальной области.

Для наблюдателя языковые взаимодействия предстают как семантические и контекстуальные взаимодействия. Тем не менее, взаимодействия в консенсуальной области есть не что иное, как строго структурно организованные взаимообусловленные поведенческие цепочки. Поэтому наблюдателю, не знающему структурных состояний организмов, вступающих в языковые взаимодействия, результат отдельного языкового взаимодействия может показаться неоднозначным, как если бы действительная синтаксическая значимость отдельного языкового поведения определялась неким внутренним, неявным правилом. И все же для каждого конкретного организма, вступившего в языковое взаимодействие, такой неоднозначности не существует.

Принятие консенсуальной области взаимодействий организмов за основу построения новой эпистемологии позволяет Матуране подойти к определению действительности (раздел “Действительность”) как “области, специфицированной операциями наблюдателя”. В конечном итоге, говорится в “Заключении”, “не остается ничего кроме наблюдателя. Но наблюдатель не существует в одиночестве, поскольку его существование с необходимостью подразумевает по крайней мере еще одно существо как необходимое условие для установления консенсуальной области, в которой он существует как наблюдатель.”

Даже по необходимости краткое изложение принципов автопойезиса позволяет увидеть, что биологическая концепция познания и языка дает решение ряда проблем, занимавших языковедов длительное время. Назову лишь некоторые из них.

Во-первых, устраняется кажущееся методологическое противоречие между подходом к языку как к деятельности и как к продукту, поскольку язык развивается по принципу автопойетической системы. Автопойезис разрешает проблему заколдованного круга в науке о языке, приняв кругообразность за основной принцип организации живых систем.

Во-вторых, автопойезис последовательным и непротиворечивым способом — т. е. научно — обосновывает подход к языку как к когнитивной деятельности, основанной на взаимодействиях с репрезентациями как специфическими состояниями активности нервной системы наблюдателей, находящихся в консенсуальной области взаимодействий. Это радикальным образом переводит философскую дискуссию о природе ментальных репрезентаций в естественнонаучную плоскость, позволяя приблизиться к пониманию того, что есть сознание и как протекают мыслительные процессы. Взаимнокаузальный характер взаимодействий организма со средой определяет *адаптивную функцию языка* (и соз-

нания), обеспечивающую *управление средой*. В конечном итоге, именно благодаря этой функции человек как вид занимает господствующее положение.

В-третьих, поскольку с точки зрения автопойетической эпистемологии “нет ничего, кроме наблюдателя”, происходит поворот на 180° в определении субъективной точки отсчета в языке, которой до сих пор принято считать говорящего. Говорящий приобретает статус вторичного фактора, отдавая право первородства наблюдателю — со всеми вытекающими последствиями, количество и степень значимости которых языковедам еще только предстоит установить. Соответственно, иерархическая цепочка “разум (сознание) — язык — репрезентация — концептуализация — категоризация — восприятие”, определяющая основные направления исследований в современной когнитологии, подвергается существенной модификации и принимает следующий вид: “восприятие (включая категоризацию) — репрезентация (включая концептуализацию) — коммуникативное взаимодействие (язык) — репрезентация (языковых взаимодействий) — восприятие”. Сознание при этом приобретает статус метакатегории как совокупность всего феноменального опыта среды, сфера которого потенциально раздвигается до бесконечности благодаря языковой когнитивной области.

В-четвертых, понятие “универсальной грамматики” переводится из разряда чисто лингвистических концептуальных конструкций в разряд когнитивно-феноменологических, одновременно подтверждая обоснованность высказываемого сегодня мнения относительно опытной природы грамматики (см. выше).

В-пятых, в новом свете предстает вопрос о соотношении значения и смысла в языке: принятие тезиса о коннотативном характере языка ведет к тому, что вопрос попросту утрачивает ту принципиальную значимость для теории языка, которую ему

традиционно придают философы и лингвисты. Автопойетическое определение коммуникации ведет к необходимости переосмысления таких понятий, как “информация” и “знание”, которыми, как принято считать, люди обмениваются в процессе общения.

В-шестых, — и это вытекает из предыдущего вывода, — автопойезис имеет важное значение для семиотики, так как заставляет по-новому подойти к проблеме знака как эмпирической сущности, с которой как с компонентом среды взаимодействует наблюдатель в процессе когнитивной деятельности.

Итак, если мы теперь вернемся к вопросу о том, почему в основной массе работ по когнитивной науке (включая когнитивную лингвистику) отсутствуют упоминания автопойетической теории — несмотря на то, что она, по сути, представляет собой готовую методологию, объяснительный потенциал которой уже по многим пунктам подтвержден накопленными эмпирическими данными — становится ясной одна главная причина: автопойезис представляет собой *альтернативную когнитивную теорию, выстроенную на других эпистемологических основаниях, нежели современная когнитивная наука*. Принятие ее, с точки зрения когнитологов доминирующего направления, означало бы отказ от ряда положений современной науки, ставших практически аксиоматичными. К их числу следует, в первую очередь, отнести представление о мышлении как о вычислительном процессе⁷ и определение языка как знаковой системы для сохранения и переработки информации (знаний).

⁷ Ср. с характерным высказыванием Д. Фодора: “Идея Алана Тьюринга о том, что мышление есть вид вычислительной деятельности, сегодня, я полагаю, является частью интеллектуального аппарата каждого...” (Fodor 1998:10).

Представляется, однако, что в таком отказе нет необходимости. Нужно просто посмотреть, насколько адекватно существующая теория отражает и специфицирует эмпирические факты, и если обнаружится, что уровень адекватности перестал отвечать минимальным требованиям непротиворечивости предлагаемых этой теорией объяснений (а это, действительно, имеет место), значит используемый ею аналитический аппарат нуждается в “доводке”. Биологическая теория познания может прекрасно послужить инструментом такой доводки, в результате которой новая эпистемология сама способна обогатиться недостающими понятиями и определениями, замыкая круг, без которого нет жизни, — а, значит, и науки.

4.3.2 Биологический подход к информации

Но как же быть с тезисом о коннотативном характере языка, в соответствии с которым в процессе языковой деятельности никакого обмена информацией не происходит? Такая посылка, действительно, приходит в противоречие с тем представлением о природе и сущности информации, к которому мы все привыкли и отказ от которого вызывает естественное чувство протеста (вспомним Ницше!). Тем не менее, думается, что кардинального противоречия здесь нет — все зависит от того, что понимать под *информацией*.

С одной стороны, представления о том, что понимается под информацией, существенно различаются не только в зависимости от того, в какой области научного знания используется это понятие, но и от того, употребляется ли оно в специальном терминологическом или обыденном смысле (КСКТ 1996). Другими

словами, объем понятия “информация” оказывается довольно широким и весьма неопределенным.

С другой стороны, в литературе часто не проводят различия между информацией и *знанием*. Вызвано это, как представляется, тем, что достаточно сложно эксплицитно сформулировать различия между ними непротиворечивым способом⁸ — не случайно в соответствующей статье в “Краткой философской энциклопедии” (1994) определение информации просто не приводится, а “Логический словарь ДЕФОРТ” определяет информацию как “*знание, представленное в форме объективного сообщения; формализованное знание*” (ЛСД 1994:60), при этом формализованное знание определяется как “система абстрактных объектов, представленная в некоторой объективной символической форме и выступающая в качестве объекта коммуникации между людьми” (там же, с. 61). Это значит, что информацию надо понимать как “формализованную систему абстрактных объектов”, но ведь “формализованное” уже подразумевает “абстрактное”! А если вспомнить то, о чем шла речь в начале главы, то есть о необходимости дифференцированного подхода к реальным и идеальным объектам в процессе рассмотрения семиозиса как процесса порождения значения (и, следовательно, знания), то проблема определения понятия “информация” оказывается самым непосредственным образом связана с проблемой определения значения.

Итак, что же следует понимать под информацией? Конечно же, не сведения, передаваемые языковыми средствами в виде текстов, так как в этом случае мы имеем дело с различными ви-

⁸ Интересна попытка прагматической экспликации концепта “знание”, продолжающая эпистемологическую программу Платона — проанализировать понятие знания с целью объяснить его значимость в человеческой жизни (см. Craig 1990).

дами знания, формализованного языковыми средствами (о разных типах знания, представленных в языке, речь пойдет позже). С определенной долей условности такое знание можно рассматривать в качестве объекта коммуникации, если отвлечься от проблемы определения онтологического статуса этого объекта, а под коммуникацией понимать *обмен информацией* (= *знаниями*), как это обычно делают (см. напр. Salmon 1990:409). Но если мы зададимся вопросом, в чем заключается подобный обмен, мы не можем не согласиться с Матураной в том, что представление о денотативном характере языка, лежащее в основе метафоры “коммуникация есть обмен информацией”, не соответствует действительности. По большому счету, осознание этого и привело Г. Фреге и последующие поколения рационалистов к необходимости говорить о *значении* и *смысле* при попытке определить, что же составляет предмет обмена в коммуникации (см. Russell 1956, Perry 1977, Kripke 1980, Salmon 1986). Порождая высказывание А, говорящий “вкладывает” в него смысл B_1 , а слушающий, воспринимая высказывание А, “извлекает” из него смысл B_2 , при этом всем хорошо известно, что B_1 не тождественно B_2 (см. напр. Verschueren 1999). Как отмечает Б. Гаспаров (1996:99), “знание” каких бы то ни было компонентов языка неотделимо от житейского, интеллектуального, эмоционального опыта субъекта, в процессе которого это знание им приобреталось и пускалось в ход... Поэтому всякое знание языка — так же индивидуально, как жизненный опыт”. А жизненный опыт, добавим мы, есть не что иное, как продукт *когнитивной деятельности*, представляющий собой репрезентации всей совокупности ориентирующих взаимодействий.

Нетождественность смысла *вложенного* смыслу *извлеченному* лишь подтверждает *ориентирующий характер* взаимодействия первого организма со вторым, в результате которого

порождается область языкового взаимодействия как расширение области когнитивного взаимодействия. Другими словами, говорящий оказывает воздействие на когнитивную область слушающего, и это воздействие возможно только в рамках консенсуальной области — иначе невозможна ориентирующая функция элементов последовательностей взаимодействий, образующих коммуникацию. Чем шире консенсуальная область взаимодействующих организмов, тем больше вероятность уменьшения неопределенности в предсказании поведения ориентируемого организма, т. е. тем ближе в содержательном плане оказываются смыслы B_1 и B_2 .

Как, наверное, уже заметил читатель, мы незаметно подошли к понятию информации, как оно трактуется в теории коммуникации. Согласно этой теории, информацию содержат лишь сообщения, уменьшающие или полностью устраняющие неопределенность в выборе одной из двух или более возможностей. Рассмотрим это на примере высказывания *Аристотель — воспитатель Александра Великого*.

В соответствии с принятым подходом к интерпретации степени информативности сообщения, данное высказывание содержит информацию только для тех, кто до его прочтения не знал, что Аристотель был воспитателем Александра Великого. В этом случае снимается неопределенность относительно характера отношений, в которых находились Аристотель и Александр, при условии, что человек, прочитавший это высказывание, знает, кто такой Аристотель (величайший философ Древней Греции) и кто такой Александр Великий (македонский царь, великий полководец, покоривший огромные пространства от Египта и Малой Азии до Индии, живший в одно время с Аристотелем), а также то, что между этими двумя людьми должно быть что-то общее. Очевидно, что эта неопределенность вызвана отсутствием соот-

ветствующего знания, которое в данном случае и выступает объектом коммуникации, так как информативное содержание высказывания не ограничивается только этим.

Более того, самый акт *прочтения* высказывания *Аристотель был воспитателем Александра Великого* можно классифицировать как акт коммуникации лишь условно — при этом неважно, рассматриваем мы коммуникацию в традиционном плане как “обмен информацией”, либо ориентируемся на определение коммуникации, предложенное Матураной — (см. выше). И в том и в другом случае остается неопределенным характер одного из участников коммуникативного процесса, а именно, “отправителя”, или “ориентирующего организма”. Соответственно, остается неопределенной консенсуальная область коммуникантов (взаимодействующих организмов), так как неясно, в какой мере совпадают между собой области взаимодействий обоих организмов, и, как следствие этого, сохраняется высокая степень неопределенности предсказаний относительно возможного поведения “получателя” сообщения (ориентируемого организма).

Собственно говоря, ситуацию, в которой человек может столкнуться с отдельным предложением типа рассматриваемого нами примера, представить довольно трудно. В практике пользования языком как средством общения не принято порождать письменные репрезентации отдельных анонимных высказываний с целью воздействовать на *неопределенного* получателя. Это не означает, что мы не сталкиваемся с такими случаями вовсе, но когда это происходит, мы понимаем, что та степень неопределенности, которую мы готовы приписать ситуации взаимодействия (коммуникации) в данном случае, целиком и полностью зависит от *недостатка информации*, но уже понимаемой как *данные*, поступающие к человеку извне по разным чувственно-перцептуальным и сенсорно-моторным каналам, а также как дан-

ные, которые уже переработаны центральной нервной системой, интериоризованы и реинтерпретированы человеком (КСКТ 1996:35).

Действительно, если мы, войдя в школьный класс после урока истории, находим на полу обрывок листка с наспех написанным предложением про Аристотеля, все те данные, которыми мы располагаем (как непосредственно чувственные, так и уже переработанные), позволяют нам снизить порог неопределенности в идентификации той области взаимодействия (= когнитивной области), к которой относится найденное и прочитанное нами сообщение. Ясно, что мы имеем дело, скорее всего, с письменной подсказкой (ориентирующим воздействием), адресованной одним учеником (ориентирующим организмом) другому ученику (ориентируемому организму). Можно также с достаточной долей уверенности предположить, что учащиеся писали тест, потому что в противном случае подсказка могла быть сделана в устной форме. Вместе с тем, мы не можем утверждать, что ориентирующее взаимодействие (коммуникативный акт) действительно имел место, так как тот факт, что бумажка с подсказкой валялась на полу, допускает, как минимум, две возможных интерпретации: (а) подсказка в процессе передачи от отправителя получателю упала на пол, и ее никто не поднял из боязни быть замеченным учителем; (б) подсказка достигла адресата, который ею воспользовался, а потом случайно уронил и не заметил этого.

Все это, однако, есть *возможные* описания предполагаемой области когнитивного взаимодействия как она видится Наблюдателю, а это значит, что полное снятие неопределенности в подобных случаях невозможно в принципе. Конечно, речь здесь идет не о той неопределенности, которая связана с установлением возможных связей и отношений между объектами, входящими в пропозициональную структуру высказывания *Аристотель* --

воспитатель Александра Великого, которая, в свою очередь, выступает в роли носителя коммуникативной информации, а о *содержательной* неопределенности информации как всех тех данных, которые поступают в центральную нервную систему и в результате обработки которых Наблюдатель осуществляет тот или иной акт категоризации, связанный с принятием той или иной интерпретации.

Как бы то ни было, то определение информации, которым оперирует теория коммуникации, оказывается ограниченным постольку, поскольку исходит из однозначной определенности основных параметров коммуникативного акта всякий раз, когда Наблюдатель обращается к любой интенционально обусловленной последовательности языковых знаков. Иначе говоря, высказывание *Аристотель* — *воспитатель Александра Великого* может и не быть информативным для Наблюдателя (например, хорошего знатока истории), но поскольку в качестве ориентируемого организма вовсе не обязательно подразумевался именно Наблюдатель, утверждать, что данное высказывание неинформативно — значит впасть в заблуждение, что когнитивная область взаимодействий Наблюдателя тождественна когнитивной области взаимодействий наблюдаемого, а это не так (см. п. 4 в кратком изложении концепции Матураны выше). Иначе говоря, понятие информации в том виде, как оно используется в теории коммуникации, основано все на том же рационалистическом подходе к языку, а потому не может служить действенным инструментом в определении языковой функции.

Всякое высказывание, будучи знаком, предполагает определенную интерпретацию, отталкивающуюся от опыта, которым располагает интерпретатор (= Наблюдатель) вообще, и от опыта языковых знаков в частности. Можно с достаточным основанием утверждать, что языковая деятельность как вид когнитивного

взаимодействия представляет собой кругообразный интерпретативный процесс, в ходе которого человек стремится наиболее оптимальным образом использовать ориентирующие воздействия ниши (среды) с целью максимальной адаптации к ней. Любая эмпирическая сущность, способная к ориентирующему воздействию, оказывается по этой причине *значащей* сущностью, поэтому в круг интерпретации (вспомним классический герменевтический круг!) оказываются втянутыми как языковые, так и неязыковые объекты (знаки), отличающиеся по своей онтологии.

Это значит, что в ходе познания как жизненного процесса когнитивная обработка (интерпретация) языковых знаков как компонентов коммуникативного описания репрезентаций взаимодействий не может осуществляться без опоры на интерпретацию собственно взаимодействий. Однако любая репрезентация основана на категоризации, при этом основания категоризации во многом зависят, опять-таки, от интерпретации, наделяющей выделяемые свойства сущности значимостью. Таким образом, в случае языковой деятельности как когнитивной области следует вести речь об *интерпретации интерпретации*. Как видим, круговая организация — а она, как подчеркивает Матурана, является квалифицирующим свойством живой системы — проявляется в функциональных особенностях языка неоднократно, подтверждая обоснованность определения языка как биологической адаптивной деятельности.

Здесь необходимо сделать еще одно отступление. Как уже говорилось, автопойетическая теория, разрабатываемая У. Матураной и Ф. Варелой и их последователями на протяжении вот уже нескольких десятилетий, никак не повлияла на общее состояние научной парадигмы, в рамках которой продолжается изучение языка. Даже в когнитивно ориентированных лингвистических исследованиях последних десятилетий — как общетео-

ретического, так и прикладного характера — отсутствуют какие-либо упоминания этой теории и предлагаемой ею новой эпистемологии. Но языкознание не является в этом отношении исключением: то же самое находим и в современной философии познания.

Невольно возникает ощущение, что в современных научных парадигмах знания о человеке и человеческом существует некий заговор молчания. Однако с точки зрения истории возникновения и развития новых научных идей “фигура умолчания” не может играть другой роли, кроме как отрицательной, так как благодаря ей энергия научного поиска может расходоваться впустую, будучи направленной на разрешение вопросов, ответы на которые уже даны. В данном случае речь идет о примечательной работе С. Приста “Теории сознания” (“Theories of the mind”. Penguin Books, 1990. Рус. пер. А. Ф. Грязнова. Идея Пресс, 2000).

Книга представляет собой попытку критического осмысления и систематизации основных точек зрения на проблему сознания, высказанных в истории мировой философии — от Платона и Декарта до Рассела и Гуссерля. Однако такая попытка не является для С. Приста самоцелью: он идет дальше, предлагая свое разрешение проблемы сознания и тела, которая сводится к установлению правильного отношения между ними на основе логической аргументации. К каким же выводам приходит С. Прист? Вкратце они таковы:

1. В случае человеческих существ и высших животных ответом на вопрос “Что такое сознание?” будет: *сознание есть мозг*.
2. Ментальное несводимо к физическому, а физическое несводимо к ментальному. И ментальное, и физическое реальны.
3. Мышление может происходить в [естественном] языке, или в искусственном языке типа системы логического обозначе-

ния. Зачастую мышление имеет место не в этих посредниках, но в ментальных образах — картинках, видимых “глазами сознания”.

Мышление является полностью ментальной активностью, т. е. никакое ментальное событие не является тождественным какому-либо физическому событию, и никакое ментальное событие не имеет никаких подлинных физических свойств. Ментальные и физические события характеризуются взаимно исключающими свойствами, например, каждое физическое событие имеет величину, но ни одно ментальное событие таковой не имеет. *Мышление есть ментальная активность мозга.*

4. *Сознание не существует.* Различные виды опыта существуют, но как только мы перечислим все виды опыта, которые имеет человек, то слово “сознание” уже не будет схватывать абсолютно ничего. Сознание есть ничто помимо опыта.

5. Решение вопроса об отношении между разными видами опыта и мозгом, а также и всем остальным физическим миром, заключается в том, что мозг и вся остальная нервная система и органы чувств вместе составляют *преобразование окружения*. Мозг преобразует физиологический сенсорный импульс в ощущения и вторичные качества. Ощущения и вторичные качества суть “мозговые трансформации”.

6. Преобразование окружения осуществляется мозгом, а эта активность зависит от хорошей работы нервной системы и органов чувств. Мозг является преобразованием окружения в силу эволюционных причин: (а) феноменология есть упрощение физиологического чувственного импульса и потому является частью того, что С. Прист называет “менеджментом окружающей среды”; (б) менеджмент окружающей среды оказался благоприятным для выживания. Мозговые трансформации суть *качествен-*

ные феноменологические результаты количественных физиологических чувственных импульсов и неврологической активности.

7. Быть субъектом означает быть способным обладать опытом. Мы субъективны или обладаем субъективностью, думая о себе лишь как об одной личности среди других. Другие для нас существуют только как объекты — объекты нашего опыта, — и мы для других можем существовать только как объект — объект их опыта. Мы имеем опыт о себе отчасти в качестве субъекта, отчасти в качестве объекта.

Как читатель, несомненно, смог убедиться, положения С. Приста в принципе почти слово в слово повторяют основные постулаты автопойетической теории — конечно, в другой терминологии (которую я назвал бы непоследовательно идеалистической), но не отличаясь при этом по существу, — двадцать лет спустя после того, как У. Матурана сделал свой доклад “Биология познания” в Иллинойском университете, и без единого намека на то, что автор знаком с когнитивной концепцией живых систем Матураны-Варелы. В результате, С. Прист говорит о грядущей научной революции, вызванной осознанием того, что мы неспособны объяснить самих себя, используя существующие методы: “Когда дело доходит до объяснения своего собственного существования, имеющиеся научные методы не справляются” (Прист 2000:279).

Оставив в стороне вопрос об оригинальности решения проблемы сознания, предлагаемого С. Пристом, отметим тот знаменательный факт, что два десятилетия спустя на другом краю земли в результате независимых размышлений философ пришел к выводам, идентичным выводам, сделанным биологами-кибернетиками. Главным из них, конечно же, является вывод об

адаптивной функции сознания (и, соответственно, языка), обеспечивающего управление средой.

Если мы примем такое определение как не противоречащее функциональным свойствам языка как объекта, возникает настоятельная необходимость пересмотра основных методологических принципов лингвистики как науки, имеющей язык объектом своего изучения. В частности, аннулируется принцип автономности языка как системы, максимально редуцируется принцип произвольности языкового знака, и признается невозможность синхронного описания (= понимания) языка, обусловленная его круговой (порождающей) организацией.

Возникает вопрос: как быть? Отказаться от попыток понять природу языка на том основании, что “познать язык” подразумевает, в первую очередь, необходимость “познать себя”, а на пути к самопознанию человечество продвинулось не так уж далеко? Но это противоречило бы основному принципу, подчиняющему себе существование живых организмов: по определению, “жить” значит “познавать”, поэтому извечное стремление человека к познанию, в том числе и самого себя, является его *экзистенциальным* свойством. Кругообразность же в организации живого организма, образующая гомеостатическую систему с функцией производства и поддержания самой себя, означает, что предела этому процессу нет в принципе, ибо достижение предела как конечной точки процесса есть не что иное, как *смерть*. Где выход?

Выход, как мне представляется, в том, чтобы отвлечься от гносеологической дихотомии “субъект/объект”, предопределявшей методологию изучения и описания языка на протяжении всей обозримой истории языкознания. В этой дихотомии заключено то, что можно назвать своеобразным *когнитивным парадоксом*. С одной стороны, рассмотрение языка как природного объ-

екта предполагает его включение в систему отношений (взаимодействий) с другими природными объектами, к числу которых принадлежит человек как живой организм, и которые все вместе описываются Наблюдателем. С другой стороны, интроспективный характер этого описания (ведь Наблюдатель одновременно является наблюдаемым объектом) ведет к тому, что оно оказывается циклически замкнутым, воспроизводя самое себя до бесконечности. Этим в немалой степени объясняется тот факт, что ни одна из существующих лингвистических теорий не смогла дать достаточно убедительного объяснения тому, что есть язык как эмпирический объект.

Напомним один из кардинальных тезисов автопойезиса: “Все сказанное сказано наблюдателем. Речь наблюдателя обращена к другому наблюдателю, в качестве которого может выступать он сам”. Здесь схвачена суть эпистемологической проблемы, препятствующей адекватному пониманию языка: до тех пор пока в лингвистике наблюдатель будет рассматриваться лишь как второстепенный прагматический фактор, влияющий на те или иные особенности языкового употребления, в противопоставлении первостепенному (а почему, собственно, первостепенному?) фактору Говорящего (читай: “субъекта” в традиционном понимании), эмпирическая суть языка будет по-прежнему ускользать.

Если рассматривать роль Говорящего как некоторую функцию, то ее очевидным аргументом будет Наблюдатель, поскольку без наблюдения не может быть когнитивных взаимодействий, и уж тем более репрезентаций взаимодействий. Следовательно, первичным фактором, ключом к пониманию устройства языка может быть только Наблюдатель (Кравченко 1992, 1993) и его, Наблюдателя, описания взаимодействий, с которыми он, в свою очередь, взаимодействует посредством языка. Принятие этого

положения коренным образом меняет весь взгляд на язык как систему, так как важнейшим — и, добавлю, неизбежным — следствием этого является отказ от тезиса о произвольности языкового знака и его символической природе. В этом случае становится также понятным закономерное смыкание направлений исследований в современной лингвистике и когнитивной науке на принципах и особенностях восприятия.

Нельзя не привести здесь глубокую мысль Е. С. Кубряковой: “Когнитивный подход заставляет нас предположить, что не только восприятие презентует нашему сознанию образ мира, не только оно создает ментальные репрезентации, о чем и свидетельствует разный “формат” и разный субстрат подобных репрезентаций. Утверждения о связанности их с языком ведут вполне органично к предположению о том, что среди перцептивных модулей, или модусов, образующих систему восприятия, надо каким-то образом найти место и языку. Таким образом, причастность языка к актам восприятия — это по-прежнему серьезная проблема, но уже не только психологии, но и всей когнитивной науки” (Кубрякова 1997:30).

4.4 Язык как адаптивная деятельность

Итак, язык есть когнитивная область взаимодействия репрезентаций ориентирующих взаимодействий. О репрезентативных свойствах языка речь пойдет чуть позже, а пока я предлагаю поразмышлять о функциональном аспекте взаимодействия репрезентаций, или, попросту говоря, о тех условиях, которые оправдывают биологическую необходимость и закономерность суще-

ствования языка, обеспечивая человеку как виду доминирующее положение “царя природы”.

Отмечу, что речь здесь не идет о возможных (эволюционных? революционных?) истоках языка. Как читатель, возможно, помнит, мы оставили эту проблему в покое до лучших времен. Речь пойдет о прагматической цели, достижению которой служит язык, и которую в общих чертах можно определить как “повышение степени определенности консенсуальной области взаимодействующих организмов (коммуникантов)”. Что кроется за этим определением?

Движущей силой всякого жизненного процесса, его категорическими императивами являются выживание и продолжение рода. Уже в этой простой истине можно проследить кругообразный принцип организации живых систем: насколько выживание вида невозможно без продолжения рода, настолько продолжение рода напрямую зависит от выживания. Выживание обеспечивается способностью организма максимально учитывать ориентирующие взаимодействия ниши (среды), при этом поведение организма, модифицируемое этими взаимодействиями, есть актуализация ниши, или Описание среды первого порядка. Поясним это на примере.

Допустим, стадо газелей пришло на водопой к водоему, в котором водятся крокодилы. Одно из животных зашло в воду дальше других, и скрывавшийся в тине крокодил схватил его за ноги. Соответствующая реакция газели, наблюдаемая остальными членами стада, будет для них Описанием среды первого порядка, т. е. актуализацией ниши, образуемой областью ориентирующих взаимодействий несчастной жертвы. Но именно потому, что для наблюдателей (остальных членов стада) эта ниша есть лишь ч а с т ь среды, тогда как для наблюдаемого организма она и есть среда, поведение жертвы, являясь ориентирующим воздей-

ствием, не обладает необходимой степенью определенности для ориентируемого организма, так как области взаимодействий наблюдаемого организма и Наблюдателя совпадают в незначительной степени. Как результат, модификация поведенческой реакции наблюдателей оказывается очень слабой — стадо не обращается в бегство, хотя река может кишеть крокодилами.

По Матуране, один организм может вносить модификации в поведение другого организма, если только области взаимодействий обоих организмов в значительной мере совпадают между собой. В этом случае про организмы можно сказать, что они общаются, т. е. вступили в коммуникацию. В рассматриваемом нами примере общения нет, так как не совпадают области взаимодействий жертвы и остальных членов стада. Коммуникация могла бы быть в том случае, если бы несовпадающие области взаимодействий каким-то образом стали совпадать, например, через равноправное вхождение в нишу, образуемую областью взаимодействий Описаний первого порядка с их собственными описаниями, т. е. Описаниями второго порядка. Описание второго порядка есть то специфическое состояние активности нервной системы ориентируемого организма, которое Матурана определяет как репрезентацию поведения второго организма, возникшего в результате ориентирующего поведения первого организма. Если теперь представить возможность описания этих состояний активности нервной системы, т. е. способность организма к модификации поведения таким образом, что это описание (Описание третьего порядка) образует консенсуальную область взаимодействий ориентирующего и ориентируемого организмов, то мы получим когнитивную (коммуникативную) область, каковой является естественный язык.

Наличие такой области взаимодействий коренным образом меняет зависимость степени модификации поведения ориенти-

руемого организма от Описаний среды первого порядка (поведения ориентирующего организма), создавая ни с чем не сравнимое преимущество в поддержании жизненной системы в постоянно изменяющейся окружающей среде. Как это происходит?

“Адаптация есть сохранение успешного опытного знания о действительности” (Keller 1998:63). Понимание живой системы как единства взаимодействий с окружающей средой с необходимостью ставит вопрос о том, какой способ взаимодействия со средой является наиболее эффективным. Свою стратегию взаимодействия со средой Наблюдатель строит, отталкиваясь от Описаний первого порядка, т. е. от наблюдаемых актуализаций ниш. Это значит, что его взаимодействие со средой, актуализованной как ниша живой системы, оказывается опосредованным через *интерпретацию* поведения ориентирующего организма.

Ниша Наблюдателя и ниша наблюдаемого, хотя и являются составными частями среды, не являются тождественными по той причине, что они суть единства взаимодействий с входящими в них (образующими их) разными организмами. Тогда как ориентирующее взаимодействие актуализованной ниши для Наблюдателя, несомненно, представляется его взаимодействием со средой, оно, тем не менее, не может модифицировать поведение ориентируемого организма в степени, равной степени модифицирующего воздействия на поведение первого (наблюдаемого) организма, оказываемое средой на него как Наблюдателя.

Иначе говоря, Наблюдатель реагирует на Описание ниши другого Наблюдателя, который реагирует на Описание ниши третьего Наблюдателя, и так до бесконечности. Но поскольку каждый Наблюдатель, ставя себя в положение наблюдаемого, имеет собственную нишу как единство взаимодействий, это ведет к тому, что его взаимодействие со средой оказывается, на деле, взаимодействием с последовательным множеством актуализаций

нищ (Описаний первого порядка), или Описанием Описаний, т. е. его взаимодействие со средой оказывается многократно опосредованным.

Как следствие, ориентирующее поведение организма является тем эффективнее, чем меньше между ним и другим организмом оказывается промежуточных Описаний, и оно может сводиться к нулю при увеличении числа промежуточных Описаний до определенного предела. В результате получается, что Наблюдатель неспособен к взаимодействию со средой в целом, так как значительная часть потенциально ориентирующих взаимодействий других организмов до него не доходит. По этой причине, Наблюдатель может оказаться в положении, когда его собственная ниша совпадает с нишей, Описание которой до него не дошло, хотя это описание могло быть существенно важным и модифицировать поведение ориентируемого организма в высокой степени (например, это Описание могло иметь интерпретацию “опасность для жизни”).

Однако если линейную последовательность всего множества актуализаций ниш преобразовать в область взаимодействий Наблюдателя с Описаниями репрезентаций собственного поведения — при условии, что эти Описания принимают форму воспроизводимых поведенческих реакций — возникает возможность редукции потенциально бесконечной последовательности Описаний первого порядка, так как каждое из этих описаний может быть “складировано” в особую когнитивную область репрезентаций как независимых сущностей. В концепции Матураны это и есть языковая область.

Предотвращая “утечку информации” (уменьшение модифицирующей силы воздействия ориентирующего организма на ориентируемый организм при большом количестве промежуточных актуализаций ниш), эта область взаимодействий разрешает про-

тиворечие, о котором говорилось выше. Наблюдатель получает возможность взаимодействия со средой, так сказать, в более широком объеме, ориентируясь на Описания репрезентаций множества Описаний отдельных наблюдателей. Когнитивная область, образуемая репрезентациями собственных Описаний своей ниши, максимально увеличивает степень определенности консенсуальной области взаимодействий организмов, поскольку любой организм в любой момент имеет возможность доступа к репрезентациям Описания ниши любого другого организма. Это обеспечивается возможностью ориентирующих взаимодействий с репрезентациями как если бы они были независимыми сущностями. По мнению Д. Деннета, “возникновение языка... было благословением для человека, технологией, которая создала целый новый класс объектов созерцания, словесно овеществленных суррогатов, которые можно рассматривать в любом порядке не будучи ограниченным во времени” (Dennett 1992:4). Собственно говоря, эта особенность и послужила причиной того, что в языкознании до настоящего времени преобладает взгляд на язык как автономную, т. е. независимую, систему.

Взаимодействуя со средой, Наблюдатель реагирует на ориентирующее поведение другого организма. Его поведенческая реакция (Описание) сопровождается специфическим состоянием активности нервной системы, которая есть репрезентация этой поведенческой реакции. При всем многообразии возможных ориентирующих взаимодействий, количество возможных поведенческих реакций второго организма оказывается с необходимостью ограниченным, поскольку любая живая система суть единство взаимодействий, т. е. она не существует вне ниши как части среды. В частности, это означает, что поведение ориентируемого организма предопределено характером области его взаимодействий (ниши), при этом репрезентации, по определению, в эту об-

ласть не входят. Они образуют отдельную от ниши область, и если организм обладает способностью взаимодействовать с репрезентациями собственных Описаний своей ниши, количество возможных поведенческих реакций резко возрастает. Таким образом, наличие дополнительной, "надстроечной" области взаимодействий выводит всю возможную совокупность поведенческих реакций организма за пределы его естественной ниши, создавая связующее звено между нишей как частью среды и средой в целом, или миром.

Но как осуществляется взаимодействие организма с репрезентациями, что составляет "материю" этой области? Ведь любое взаимодействие основано на наблюдении (восприятии), и если Описание первого порядка основано, большей частью, на зрительном восприятии, то на восприятии чего и каким образом основано Описание третьего порядка как нефизическое взаимодействие между организмами, в котором взаимодействующие организмы ориентируют один другого на взаимодействия внутри когнитивных областей друг друга? Очевидно, что нефизическое взаимодействие между организмами (языковая коммуникация) должно быть опосредовано субстанцией, доступной восприятию, субстанцией, которая бы обеспечивала совпадение консенсуальных областей взаимодействующих организмов, являясь одновременно элементом ниши как единства взаимодействий организма. Такой субстанцией является звучащая речь как репрезентация репрезентаций, с одной стороны, и как Описание взаимодействий репрезентаций, с другой. В этом, собственно, и состоит двойственность функции языка как функции снятия неопределенности консенсуальных областей взаимодействий организмов.

С биологических позиций, звуковой характер языковой материи может быть обоснован следующими соображениями. Во-первых, взаимодействие с репрезентациями (Описание второго

порядка) не может быть основано на зрительном восприятии. В общем и целом линейный характер распространения отраженных световых волн в среде ставит зрительное восприятие объектов в прямую зависимость от местоположения Наблюдателя и угловой ориентации его органов зрения (сетчатки глаз) относительно линейного вектора распространения световой волны: чем больше угол, тем ниже порог восприятия. Далее, чередование светлого и темного времени суток ограничивает возможности зрительного восприятия до минимума в ночное время, и если бы в основе материи когнитивной языковой области лежал зрительный образ, возможность коммуникативной деятельности (взаимодействие с репрезентациями Описаний первого порядка) была бы резко ограничена, не способствуя эффективному взаимодействию со средой как способу обеспечения выполнения экзистенциальных императивов.

Во-вторых, зрительный образ не является, строго говоря, структурой, порожденной в результате взаимодействия организма со средой, он и есть среда в той мере, в какой она определяется единством взаимодействий организма, в то время как звуковые структуры различной степени сложности и организации могут производиться (порождаться) различными организмами *п р и* взаимодействии со средой.

В-третьих, слух является вторым по значимости (после зрения) органом чувств, если под значимостью понимать размеры ниши, определяемые пространственной областью взаимодействий слуховых анализаторов. Поскольку оптимальность взаимодействия организма со средой прямо пропорциональна размерам его ниши, а когнитивная языковая область позволяет значительно расширить эти размеры, звуковая материя оказывается идеальным средством воплощения языковой способности как области взаимодействий с Описаниями репрезентаций. Как видим, под-

ход к проблеме звуковой природы языка с разных позиций — с точки зрения внутренней логики семиозиса (см. гл.3) и с точки зрения биологии познания — приводит к одинаковому выводу, что является еще одним подтверждением онтологической общности между семиозисом и познанием как жизненными процессами.

Определение языка как адаптивной деятельности, направленной на повышение эффективности взаимодействия организма со средой, имеет важные преимущества перед другими определениями, поскольку схватывает функциональную суть языка как естественного (биологического) явления. Выше уже шла речь о том, что определение языка как средства коммуникации определением, строго говоря, не является, так как оставляет открытым вопрос о том, что есть коммуникация. В свою очередь, определение коммуникации как обмена информацией ставит, помимо вопроса о том, что есть информация, еще и вопрос о том, для чего ею нужно обмениваться.

Отвлекаясь от анализа содержательного объема термина “информация”, допустим, что существует нечто, именуемое этим термином, возникающее в ходе познавательной (= жизненной) деятельности человека и имеющее некоторую ценность. Эта ценность объясняет, почему человеку нужно создавать и сохранять информацию, постоянно находясь в процессе обмена ею (т. е. в процессе языковой коммуникации). Но зачем нужен такой обмен, и в чем ценность информации?

Ответ здесь возможен только один: постоянный обмен информацией (что бы это ни было) способствует эффективному взаимодействию со средой, повышая шансы на успешное выполнение экзистенциальных императивов выживания и продолжения рода. Следовательно, то, что мы называем информацией, есть не что иное как модифицирующие воздействия на поведение орга-

низма⁹. Эти воздействия суть результат взаимодействия организмов в языковой среде, которая образуется порождающими взаимодействиями с Описаниями репрезентаций Описаний первого порядка (актуализаций ниш). В этом смысле информация не может рассматриваться как некая независимая эмпирическая сущность — а именно так она и рассматривается, когда речь заходит о различных операциях с информацией.

Но все дело в том, что человеческое мышление устроено таким образом, что любой концепт, выделяемый в процессе наблюдения и описания мира (среды), приобретает статус относительно независимой эмпирической сущности как только происходит его “овеществление” в структуре, порожденной взаимодействием с репрезентациями, т. е. в определенном образом организованной звуковой материи. В этом смысле толкование информации как независимой сущности ничем не отличается от толкований *большинства* концептов, которыми оперирует человеческое мышление, включая традиционно “объективистские” науки, такие, как, например, физика. Насколько независимыми (объективными) сущностями можно считать пространство, материю, время, мас-

⁹ Собственно говоря, информацию (in-formation) следует понимать как встраивание (организма в среду), в результате которого он оказывается информированным (in-formed). Такую информацию нельзя рассматривать как эфемерное значение или биты информации, ожидающие, когда живая система ими воспользуется (Varela 1992:8; см. также Murphy 1992). Информация — это “способность определенных физических сущностей представлять в различных конфигурациях и, следовательно, оказывать различные воздействия в отношении других компонентов или всей системы. Информация есть макроскопическая характеристика физической сущности, а ее природа является энергетической...” (Mogeno, Merelo, Etcheberria 1992:66).

су, скорость и т. п., если “все сказанное сказано наблюдателем”? Как подчеркивает Матурана, “мы обычно не осознаем, что наука является закрытой когнитивной областью, в которой все утверждения, по необходимости, зависят от субъекта и справедливы только в области взаимодействий, в которой стандартный наблюдатель существует и оперирует” (Maturana 1978:29, см. тж. Maturana, Mpodozis, Letelier 1995).

Почти слово в слово эту же мысль высказывает С. Прист (2000:8): “Наука объективна, но наше собственное существование субъективно. Если вы занимаетесь наукой, то это требует вынесения за скобки — или воздержания от — вашей собственной субъективной точки зрения, так чтобы могли делаться открытия или фиксироваться данные, не искаженные личными эмоциями или политическими предрассудками. <...> Тем не менее для того, чтобы понять самих себя, необходимо рассмотреть как раз эту субъективную, или Вашу собственную, точку зрения. Чтобы понять самих себя, нам следует понять все, что не учитывает наука. А это требует понимания субъективности. Ученый должен объяснить ученого”. Можно сослаться также на позицию видного философа науки Х. Патнема (Putnam 1990), который считает, что в целом понятие “встроенности в физическую реальность” или “существования в действительности”, в метафизическом смысле, является бессодержательным.

Чтобы не оказаться в плену очевидного эпистемологического противоречия, нужно постараться ответить на вопрос: что представляют собой Описания репрезентаций, взаимодействие с которыми создает область языковой коммуникации? А так как Описания репрезентаций есть порождаемые собственными взаимодействиями звуковые структуры, выступающие для наблюдателя в роли независимых сущностей (знаки), необходимым шагом является рассмотрение знака как о б ъ е к т а.

Глава 5.

КОГНИТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗНАКА

5.1 Онтологический статус знака

5.1.1 Репрезентации

В предыдущих главах уже затрагивались некоторые вопросы, связанные с проблемой определения знака как сущности. В частности, было отмечено, что категоризация некоторой сущности как знака есть результат установления регулярного характера отношения между явной и скрытой сущностями посредством опыта, т. е. через взаимодействие.

Опыт, “сын ошибок трудных”, может быть охарактеризован как функция снятия неопределенности в области каузальных связей между различными взаимодействиями организма. Как видим, такое определение, по существу, очень близко определению прагматического аспекта языка, приведенному выше (см. предыдущую главу), смыкаясь с ним в той мере, в какой область каузальных связей между взаимодействиями смыкается с консенсуальной областью взаимодействующих организмов. Таким образом, устанавливается прямая связь между языковой когнитивной областью и опытом. Эта связь также характеризуется кругообразностью: чем больше опыт Описаний первого порядка (актуализаций ниш), тем шире область взаимодействий репрезентаций и, соответственно, опыт таких взаимодействий. А чем шире опыт взаимодействий репрезентаций, тем больше определен-

ность области каузальных связей между репрезентациями и Описаниями первого порядка.

Где и в виде чего сохраняется опыт?

Попробуем представить себе процесс возникновения и накопления опыта на идеализированном примере организма, начинающего жизнь, а потому не имеющего опыта по определению — например, новорожденного младенца. (Пример этот идеализированный потому, что, строго говоря, организм уже взаимодействует со средой, находясь в утробе матери, хотя и среда, и характер взаимодействия с нею заметным образом отличны от тех, которые мы рассматриваем применительно к самостоятельно функционирующим организмам.)

Первый опыт младенца состоит в том, что он испытывает ощущения, на которые организм реагирует в соответствии с заложенной в него генетической программой. Взаимодействие со средой, осуществляемое посредством органов чувств, сопровождается возникновением специфических состояний активности нервной системы (репрезентаций), которые поначалу носят элементарный характер в том смысле, что реакции на воздействия среды являются рефлексорными, их нельзя рассматривать как результат синтеза данных, поступающих через разные анализаторы. Эти элементарные репрезентации подкрепляются каждый раз, когда организм испытывает аналогичные ощущения, приобретая устойчивый характер (например, ощущения, вызываемые температурными изменениями среды). Если исходить из того, что опыт есть способность установления каузальных связей между взаимодействиями, а взаимодействия репрезентируются состояниями активности нервной системы, которые, в свою очередь, также образуют область взаимодействий, то можно предположить, что опыт есть *сохраняющиеся во времени специфиче-*

ские состояния активности нервной системы, вызванные взаимодействиями.

Казалось бы, как происходит взаимодействие с явными сущностями более или менее понятно, так как они непосредственно образуют область взаимодействий (нишу), описываемую Наблюдателем. Дым или качающиеся ветви дерева вызывают определенную поведенческую реакцию, следовательно, имеет место взаимодействие организма с этими сущностями как компонентами ниши. Однако вопрос в том, почему организм должен реагировать, скажем, на дым вообще? Что произойдет, если никакой реакции не будет? И могут ли иметь место случаи, когда такой реакции на самом деле нет? Если да, то тогда чем объясняется наличие реакции в одном случае и отсутствие реакции в другом? Ответы на эти вопросы имеют существенное значение для выяснения того, как возникает связь между явной и скрытой сущностью, и что есть опыт как биологическая характеристика живой системы.

Организм, только что появившийся на свет, не имеет опыта. Опыт начинает появляться и постепенно накапливаться по мере того, как организм осваивает свою нишу, вступая во взаимодействия с компонентами среды. Эти взаимодействия могут быть двух типов, интенциональные и неинтенциональные, т. е. направленные от организма на среду или от среды на организм. Это не означает, что доля тех или других в той сумме взаимодействий, которая образует нишу организма, одинакова: интенциональные взаимодействия количественно превосходят неинтенциональные взаимодействия в случае активных организмов.

Можно возразить, что интенциональное взаимодействие есть всего лишь результат неинтенционального взаимодействия, вызывающего определенную поведенческую реакцию, которую Наблюдатель склонен квалифицировать как проявление интен-

ции, поскольку он не может проследить каузальную связь между наблюдаемым поведением другого организма и каким-то из компонентов среды, вызывающим это поведение. Наверное, дело как раз и обстоит именно таким образом, но именно потому, что "все сказанное сказано наблюдателем", который, описывая наблюдаемый фрагмент среды, основывается на своем опыте взаимодействия с актуализованными нишами других организмов, нежели чем на опыте взаимодействия с Описанием собственной ниши, понятие интенциональности представляет собой скорее описательный прием, чем содержательное определение. Как следствие этого, применение данного приема оказывается в прямой зависимости от меры опыта, которым обладает Наблюдатель, т. е. от его способности устанавливать каузальные связи между различными взаимодействиями организма¹. "...Интенциональность как относительная характеристика потока поведения остается характеристикой реляционного пространства, в котором живет наблюдатель" (Maturana, Mpodozis, Letelier 1995:25).

Если опыт Наблюдателя не позволяет ему идентифицировать наблюдаемое Описание ниши как следствие другого взаимодействия (которое, таким образом, оказывается скрытой сущностью), оно будет квалифицировано как интенциональное взаимодействие. Если же такая связь может быть установлена, наблюдаемое Описание становится индикатором, указывающим на каузальную связь со скрытой сущностью (другим взаи-

¹ См. напр. интересную работу (Premack 1990) о делении ребенком предметов на самодвижущиеся и несамодвижущиеся, в основе которого лежит восприятие изменений в движении либо как каузальных, либо как интенциональных.

модействием), т. е. оно становится знаковым в классическом толковании термина.

Применительно к языку, таким образом, можно говорить о его вторично-репрезентативной функции, как это делает Д. Бикертон:

"Первичная система репрезентации (ПСР) дает модель мира, основанную на чувственных данных, памяти, интероцепции и проприоцептивной обратной связи. Вторичная система репрезентации (ВСР) дает модель этой модели, в которой мир и наши действия в нем выражаются, или потенциально могут быть выражены, словами. ПСР чувствует, ощущает и реагирует, ВСР выражает все это словами" (Bickerton 1990:209).

Развиваясь, организм начинает активно взаимодействовать со средой, когда несколько или все чувственные анализаторы участвуют в когнитивном взаимодействии с тем или иным компонентом среды. Репрезентации таких взаимодействий являются синтезом элементарных репрезентаций, т. е. их структура усложняется. Эти репрезентации также приобретают устойчивый характер по мере подкрепления (повторения однотипных взаимодействий). Таким образом, происходит накопление репрезентаций разной структурной сложности, образующих своеобразный ментальный инвентарь памяти. Этот инвентарь составляет основу механизма восприятия как когнитивного взаимодействия со средой, имеющего ориентирующий характер.

Как читатель уже, наверное, заметил, такой подход к памяти практически отождествляет ее с опытом как он был определен выше ("сохраняющиеся во времени специфические состояния активности нервной системы, вызванные взаимодействиями"). Представляется, что противоречия здесь никакого нет, так как приведенное определение опыта охватывает лишь его феноменологический аспект (память как совокупность репрезентаций

взаимодействий с эмпирическими сущностями), оставляя в стороне гносеологический аспект — установление каузальных связей между взаимодействиями (репрезентации которых отсутствуют в ментальном инвентаре памяти) на основе аналогии между новой возникающей репрезентацией и уже имеющимися репрезентациями, т. е. на основе *взаимодействия с репрезентациями*.

Здесь необходимо сделать одну оговорку. Читатель, знакомый с воззрениями Дж. Беркли на природу человеческого знания вообще, и восприятия в частности (см. Luce, Jessop 1948-57, Baxter 1991, Schwartz 1994), увидит прямую аналогию между его рассуждениями о том, как осуществляется категоризация (и именование) отдельной сущности, основанная на одновременно испытываемых различных сенсорных ощущениях в процессе восприятия этой сущности, и той моделью формирования репрезентативной (концептуальной) системы, о которой речь пойдет ниже. Однако это не означает, что я старался продолжить линию анализа, намеченную Беркли: совпадение это (если его можно назвать совпадением) невольное, и означает лишь то, что трудно найти проблему гносеологического характера, которая так или иначе не являлась бы объектом рассмотрения в истории философии.

Предположим, ребенок впервые сталкивается с таким явлением, как дым. Возможны, по крайней мере, три способа его взаимодействия с этим компонентом среды, в зависимости от того, какие чувственные анализаторы оказываются задействованными: только обоняние, только зрение, или обоняние и зрение. В первом случае имеет место прямой контакт организма с объектом, вызывающий рефлекторную поведенческую реакцию. Возникающее при этом специфическое состояние активности нервной системы (репрезентация) самым непосредственным, органическим образом связано с самим взаимодействием как сово-

купностью биохимических реакций организма. Это значит, что взаимодействие с любой газообразной смесью, по химическому составу близкой к дыму, но не обязательно видимой, будет вызывать аналогичную репрезентацию, т. е. возникающее состояние активности нервной системы будет репрезентацией химических свойств взаимодействующего компонента среды, не затрагивая его других (например, физических) свойств.

Во втором случае, когда дым как компонент среды воспринимается и обрабатывается только зрительным анализатором, рефлекторная реакция на зрительный образ (подобная реакции в первом случае) отсутствует. Более того, нет никаких оснований для того, чтобы Наблюдатель (ребенок) связал репрезентацию, вызванную обонятельным ощущением, с репрезентацией, вызванной зрительным образом. Это значит, что в его нервной системе присутствуют две различные не связанные между собой репрезентации взаимодействия с одной и той же сущностью. Этот процесс можно назвать “удвоением (утроением и т. д.) мира” — хотя, естественно, сам ребенок этого не осознает.

Если дым воспринимается как стабильный компонент среды, более или менее сохраняющий свои наблюдаемые свойства и не влияющий на наблюдаемые свойства других компонентов, образующих область взаимодействий, поведенческая реакция со стороны организма может отсутствовать вообще. Если же дым в силу своих физических свойств как явления модифицирует область взаимодействий организма, попадая в когнитивный фокус благодаря своей выделенности (которая может быть обусловлена либо динамикой изменения формы на фоне других неизменных объектов, либо интерференцией в восприятии других компонентов среды, до этого находившихся в фокусе внимания), возможна поведенческая реакция, заключающаяся в изменении пространственной ориентации организма и, следовательно, модификации

области взаимодействий. Изменение пространственной ориентации вызвано стремлением уйти от неопределенности, возникающей при изменении воспринимаемых отношений между компонентами ниши.

Устранение неопределенности возможно двумя способами: 1) исключить помеху (дым) из области взаимодействий, совершив перемещение в пространстве таким образом, чтобы новый угол зрения, при сохранении остальных компонентов ниши, исключал дым из поля восприятия, либо 2) вступить в прямое взаимодействие с объектом (также совершив перемещение в пространстве), получив в результате соответствующую (новую) репрезентацию. В последнем (третьем) случае взаимодействия новая репрезентация будет не просто совокупностью двух других элементарных репрезентаций, основанных на обонятельных и зрительных ощущениях, а совокупностью репрезентации, основанной на обонятельном ощущении, и новой зрительной репрезентации, полученной при изменении пространственного соположения организма и компонента среды "дым". В свою очередь, эта новая репрезентация является модификацией предыдущей репрезентации и имеет сложную структуру, так как она вызвана модифицированным зрительным образом дыма, включающим новый компонент ниши — огонь (ибо "нет дыма без огня").

В связи с тем, что при каждом новом взаимодействии организма с дымом как компонентом ниши возникающий зрительный образ в той или иной степени будет отличаться от всех предшествовавших зрительных образов, репрезентация такого взаимодействия также будет отличаться от всех предшествующих репрезентаций. Но это же справедливо и в отношении элементарной репрезентации взаимодействия, основанного, например, на обонятельном ощущении: в зависимости от свойств горящего материала, химический состав дыма, влияющий на совокупность

биохимических реакций организма как поведенческую (рефлекторную) реакцию на взаимодействие с компонентом среды, может быть различным. Это значит, что и репрезентации такого взаимодействия в каждом отдельном случае могут различаться. Тем не менее, при всем разнообразии различий, они будут сохранять то общее, что свойственно взаимодействию организма с любыми видами дыма и что обусловлено его природой как продукта сгорания (окисления). Репрезентация наиболее часто повторяющегося взаимодействия будет *прототипической репрезентацией*.

Важным моментом здесь является то, что, в зависимости от способа взаимодействия с сущностью, можно говорить, как минимум, о четырех различных типах репрезентаций этого взаимодействия, из которых два являются элементарными, а два — сложными, тогда как общее количество возможных репрезентаций оказывается практически неограниченным. Следует оговориться, что о четырех типах репрезентаций речь идет применительно к рассматриваемому случаю, когда во взаимодействии организма с компонентами среды участвуют два анализатора. Увеличение количества задействованных анализаторов ведет к увеличению числа типов репрезентаций: например, участие трех анализаторов дает уже шесть возможных типов репрезентаций. Другими словами, чем больше чувственных анализаторов принимает участие во взаимодействии организма с компонентом среды, тем больше и разнообразнее набор возможных репрезентаций такого взаимодействия.

В процессе взаимодействия со средой, в зависимости от тех или иных конкретных условий, отдельный тип репрезентации может получать большее подкрепление, приобретая более устойчивый характер. Так, в процессе жизнедеятельности человека его взаимодействие с дымом как компонентом среды предполагает

предшествующее взаимодействие с огнем, поскольку как компонент среды огонь в подавляющем большинстве случаев обязан своим появлением человеку. Это значит, что, по сравнению с другими возможными типами репрезентаций, преобладающей будет прототипическая сложная репрезентация, включающая в себя, с одной стороны, прототипическую сложную зрительную репрезентацию (состоящую из элементарных зрительных репрезентаций “дым” плюс “огонь”), и, с другой стороны, прототипическую элементарную обонятельную репрезентацию.

5.1.2 Каузальные связи

Человеческий мозг конечен, но он позволяет оперировать потенциально бесконечным количеством концептов. По мнению Р. Джекендоффа, это означает, что должен быть набор примитивов и комбинаторных правил, действующих по порождающему принципу (Jackendoff 1992:25). Эти примитивы, подобно кваркам в физике элементарных частиц, не могут появляться изолированно, их можно наблюдать лишь в сочетании с другими примитивами в виде концептов. Соответственно, основные параметры мыслительной деятельности человека определяются абстрактной формальной системой, этакой алгеброй, которая регулирует способы ментального кодирования опыта (там же, с. 43).

Я не знаю, насколько правомерно применение математической метафоры к мыслительным процессам (особенно к мышлению, основанному на интуиции), но главная идея концептуальной семантики Р. Джекендоффа созвучна положению, которое я выдвигаю в качестве гипотезы:

По мере накопления опыта взаимодействий со средой элементарные прототипические репрезентации начинают существовать лишь как составные части сложных прототипических репрезентаций.

Если бы это было не так, ресурсы центральной нервной системы оказались бы очень скоро исчерпанными, а когнитивный процесс (жизнь) остановился, что означало бы неизбежную смерть организма. Однако этого не происходит, так как по мере накопления опыта взаимодействия со средой происходит “перенастройка” когнитивного аппарата организма. В результате такой перенастройки память и восприятие включаются в кругообразно организованную (порождающую) систему взаимодействий репрезентаций.

Взаимодействие научающегося организма со средой ведет к возникновению набора элементарных репрезентаций. По мере того, как растет количество взаимодействий с однотипными компонентами среды (с участием все большего количества чувственных анализаторов), репрезентация таких взаимодействий усложняется за счет включения в ее структуру некоторого числа элементарных репрезентаций, представляющих различные аспекты (качественные и реляционные) компонента среды как сущности. Репрезентации различных взаимодействий организма с сущностью оказываются “схваченными” этой структурой, имеющей размытые очертания по необходимости — ведь при каждом новом взаимодействии с сущностью конкретная реализация этой структуры будет отличаться от предшествующей числом элементарных репрезентаций, их удельным весом в порождаемой сложной репрезентации и т. п.

Вместе с тем, принципиальная организация этой структуры будет сохраняться благодаря тому, что любые элементарные ре-

презентации появляются в результате взаимодействия организма со средой посредством имеющегося в его распоряжении данного конечного набора чувственных анализаторов, принцип действия которых остается неизменным на протяжении жизни. Таким образом, сложная репрезентация обнаруживает *каузальную зависимость* от элементарных репрезентаций. Собственно говоря, сложную репрезентацию по этой причине можно рассматривать как *структурную единицу опыта/памяти*, или концепт².

Каждая последующая сложная репрезентация взаимодействия организма с однотипным компонентом среды является “новой” лишь условно. Совпадение базовой конфигурации элементарных репрезентаций, объединяемых в сложной репрезентации, с уже существующей прототипической конфигурацией как специфическим активным состоянием нервной системы (мнемонической структурой, или памятью) включает эту существующую конфигурацию в “новую” репрезентацию.

Далее, размытый характер структуры сложной репрезентации ведет к тому, что, если в процессе взаимодействия со средой в нервной системе организма возникает специфическое состояние активности, по своим параметрам в значительной степени совпадающее с уже имеющейся элементарной репрезентацией, входящей в сложную прототипическую репрезентацию (структуру памяти), это ведет к активации всей сложной репрезентации как если бы организм взаимодействовал с соответствующей этой репрезентации явной сущностью.

² Хотя такое определение концепта терминологически схоже со стандартным определением концепта в психологии (см. напр. Margolis 1999), оно не идентично ему в той мере, в какой автопойетическое понятие репрезентации отлично от рационалистического понятия ментальной репрезентации.

Так, человек, реагирующий только лишь на обонятельное ощущение, да к тому же еще и в темноте, может с достаточным основанием заключить, что в доме пожар, обнаружив соответствующую поведенческую реакцию. Для него запах дыма является знаком, т. е. сущностью (компонентом среды), взаимодействие с которой вызывает поведенческую реакцию (Описание первого порядка), соответствующую взаимодействию с другой, отсутствующей сущностью. Однако на самом деле эта поведенческая реакция является результатом взаимодействия организма с репрезентацией, служащей установлению каузальной связи между явной и скрытой сущностями. Если такая репрезентация (концепт как мнемоническая структура опыта) отсутствует — например, в сознании маленького ребенка — запах дыма не будет знаком огня, он не вызовет адекватной поведенческой реакции, и в результате ребенок может погибнуть, как принято говорить в таких случаях, “по неопытности”.

Рассмотрим еще один гипотетический пример с использованием той же ситуации “пожара”. Допустим, в нижней части здания произошло возгорание, и огонь начал распространяться по этажу. Несколькими этажами выше в одной из комнат находится человек. Когда запах дыма достигнет этого помещения и войдет в область взаимодействий этого человека, может оказаться слишком поздно для того, чтобы тот отреагировал на него адекватным образом, избежав смертельной опасности. Этого может не случиться, если он вступит во взаимодействие со сложной репрезентацией Описания первого порядка (поведенческой реакции на пожар), активизированной другим (отличным от дыма) знаком до того, как дым станет компонентом ниши. По понятной причине, взаимодействие с таким знаком не может быть основано на деятельности зрительных или обонятельных анализаторов. Это не могут быть и органы вкуса или тактильных ощущений, физиче-

ская область взаимодействий которых очень ограничена. Единственной возможностью является взаимодействие с каким-то знаком, тело которого имеет *звуковую природу*. Но что может служить таким знаком?

Звуки, которые можно слышать при пожаре (треск горящего материала, шум перемещающихся в соответствии с законами термодинамики воздушных масс и т. п.) могут быть как довольно громкими, так и отсутствовать вообще. Уровень сопровождающего пожар шума обычно прямо пропорционален его силе и масштабам, чего нельзя сказать о дыме, так как обычно дым является более ранним знаком огня, чем производимый пожаром шум. Получается, что если предположить существование некоторой сущности, имеющей звуковую природу и могущую выступать в роли знака пожара, она не может быть естественным образом (как, например, дым) связанной с огнем, она должна быть *онтологически независимой* от той сущности, знаком которой она является.

Что кроется за этим выводом? С одной стороны, если знак физически независим от обозначаемой сущности, это значит, что область его взаимодействий (ведь знак, в свою очередь, сам является компонентом среды) не должна совпадать, или может совсем не совпадать, с областью взаимодействий обозначаемой сущности, совпадая, однако, с областью взаимодействий Наблюдателя. С другой стороны, возникает вопрос о том, каким образом между двумя материальными сущностями устанавливается каузальная связь, если они естественным образом независимы друг от друга.

Каузальные отношения между сущностями устанавливаются на основе взаимодействия с ними как компонентами ниши: взаимодействие с одной сущностью ведет к взаимодействию с другой и наоборот. По мере накопления опыта таких взаимодействий в

нервной системе организма формируется устойчивая мнемоническая структура, включающая в себя репрезентации взаимодействий с каждой отдельной сущностью, так что по мере когнитивного развития организма наступает момент, когда активация репрезентации взаимодействия с одной сущностью влечет активацию всей мнемонической структуры, в которую эта репрезентация входит, и, соответственно, активацию репрезентации взаимодействия с другой сущностью, даже если самого взаимодействия с этой другой сущностью нет (своеобразный эффект резонанса³). Следовательно, для Наблюдателя взаимодействие с любыми двумя сущностями, отвечающее этому условию, будет каузально обусловленным, а сами сущности будут находиться в отношении *естественной гносеологической зависимости*. Такого рода отношение мы находим между знаками естественного языка и компонентами среды. Это отношение не прямое, оно опосредовано областью взаимодействий с репрезентациями, т. е. областью коммуникации.

5.1.3 Когнитивная настройка организма

Выдвинутая в предыдущем разделе гипотеза о том, что по мере накопления опыта взаимодействий со средой элементарные прототипные репрезентации начинают существовать лишь как

³ Это явление, по-видимому, лежит в основе мыслительного процесса и позволяет понять, почему проблема искусственного интеллекта остается нерешенной: “в мозгу мы находим тесное переплетение сетей и подсетей и отсутствие свидетельств структурного разложения сверху вниз, как это характерно для компьютерного алгоритма” (Varela 1992:11).

составные части сложных прототипических репрезентаций, позволяет предложить непротиворечивую теорию усвоения естественного языка, объясняющую легкость овладения языком в детском возрасте и так называемый феномен критического возраста. Эта теория позволяет также сделать более определенные предположения о характере соотношения между языком и мышлением в пользу языкового детерминизма и, соответственно, о факторах, влияющих на формирование национальной картины мира. Попробую изложить основные положения такой теории в тезисной форме.

1. В первые годы жизни происходит когнитивная настройка человеческого организма, от которой зависит его дальнейшее существование. Суть этой настройки заключается в том, что организм постепенно встраивается в среду, вступая во все более расширяющийся круг разнообразных взаимодействий с компонентами среды, характеризующихся каузальной взаимообусловленностью. К числу таких компонентов относятся и естественные языковые объекты в их множественных связях с другими эмпирическими объектами.

2. Вступление во взаимодействия с компонентами окружающей среды знаменует начало процесса накопления опыта как специфических состояний активности нервной системы, сохраняющихся во времени, или репрезентаций. Первичное взаимодействие с отдельным компонентом среды ведет к возникновению элементарной репрезентации. Каждое последующее взаимодействие с этим же или другим однотипным компонентом среды модифицирует первичную элементарную репрезентацию, в результате чего формируется *прототипическая элементарная репрезентация*.

3. Регулярное совпадение во времени возникновения двух или более элементарных репрезентаций взаимодействий ведет к

установлению между этими репрезентациями каузальных связей, на основе которых формируется структура *сложной репрезентации*. С возникновением сложных репрезентаций элементарные репрезентации начинают существовать только лишь как составные компоненты сложных репрезентаций. По мере накопления опыта взаимодействия со средой (включая взаимодействия с репрезентациями взаимодействий) и множественных модификаций структуры сложной репрезентации, формируется *прототипическая сложная репрезентация* или концепт. Составной частью концепта является прототипическая элементарная репрезентация взаимодействия с языковым объектом.

4. Вся совокупность сложных репрезентаций (концептов) образует сложную интегрированную систему (концептуальную картину мира). Эта система, с одной стороны, отражает суммарный обобщенный опыт взаимодействий со средой, а с другой стороны, она сама является объектом взаимодействия.

Взаимодействия с системой репрезентаций, образующие область языковых (коммуникативных) взаимодействий, модифицируют поведение организма таким образом, что оно становится. Описанием взаимодействий с репрезентациями взаимодействий, в результате чего в той или иной степени меняется общая структура концептуальной картины мира как если бы она была обусловлена взаимодействиями непосредственно с компонентами среды. Каждое изменение структуры концептуальной картины мира создает новый "возможный мир", взаимодействие с которым ведет к модификации поведения организма, что, в свою очередь, ведет к изменению самой среды (мира), взаимодействие с которой ведет к возникновению модифицированной концептуальной картины мира и т. д. в кругообразном порядке.

Взаимодействия с репрезентациями взаимодействий образуют область языковой деятельности. Это возводит языковую

деятельность в ранг *миросозидающей деятельности* (в прямом и переносном смысле).

5. На определенном этапе развития организма его встраивание в среду (*ин-формирование*) завершается в том смысле, что большая часть его возможных взаимодействий со средой уже репрезентирована совокупностью специфических состояний активности нервной системы (элементарных репрезентаций), и каждая новая репрезентация взаимодействия со средой активизирует существующую мнемоническую структуру, составным компонентом которой является элементарная репрезентация взаимодействия с определенным языковым объектом. Поскольку взаимодействие с концептами как сложными репрезентациями взаимодействий со средой осуществляется на уровне репрезентаций взаимодействий с языковыми объектами, входящих составной частью в сложные репрезентации, постольку система репрезентаций взаимодействий с языковыми объектами оказывает решающее влияние на общую структуру концептуальной (национальной) картины мира.

6. Встраивание организма в среду определяется эффективностью взаимодействия с концептуальной картиной мира, осуществляемого посредством языковых (коммуникативных) взаимодействий. Ущербность системы репрезентаций взаимодействий с языковыми объектами (которая может быть вызвана самыми разными причинами, от функциональных нарушений физиологического характера до синдрома Маугли) ведет к невозможности эффективного взаимодействия с концептуальной картиной мира (которая сама в этом случае приобретает ущербный характер) и, как следствие этого, к невозможности адекватного *ин-формирования* организма, его встраивания в среду. Процесс *ин-формирования* останавливается на полпути, так как организм оказывается не в состоянии вступать во взаимодействия со сре-

дой (частью которой является область языковых взаимодействий) в целом.

7. Легкость, с которой дети усваивают иностранный язык, будучи погруженными в культурную среду другого этноса, объясняется тем, что настройка когнитивного аппарата у них еще не завершилась и формирование концептуальной картины мира не закончилось — главным образом, из-за недостатка необходимого объема эмпирического опыта. Это делает возможной полную замену той системы языковых объектов, взаимодействия с которыми порождали репрезентации как составные части *формирующихся* концептов. Репрезентации взаимодействий с новыми языковыми объектами постепенно вытесняют уже имевшиеся репрезентации взаимодействий с объектами родного языка, занимая их место в мнемонических структурах представления опыта, ибо отсутствие повторяющихся взаимодействий с языковыми объектами постепенно ведет к затуханию описывающих их специфических состояний активности нервной системы (репрезентаций).

В случае двуязычия, когда ребенок одновременно вступает во взаимодействия с разными системами языковых объектов, происходит формирование сдвоенной (но не двойной!) концептуальной картины мира: взаимные каузальные связи между сложными репрезентациями приобретают альтернативный характер — в зависимости от того, репрезентация взаимодействия с языковым объектом какой системы активизирует сложную репрезентацию, — однако общая конфигурация самих сложных репрезентаций в принципе сохраняется, так как вне зависимости от типа языковых объектов, с которым взаимодействует организм, *ин-формационный* фон среды, в которую встраивается организм, остается единым.

8. После наступления полового созревания процесс когнитивной настройки организма в общем и целом завершается, и он

становится *ин-*формированным в мире через когнитивную область коммуникативных взаимодействий, образуемую взаимодействиями с репрезентациями взаимодействий, т. е. через язык. Поэтому замена родного языка иностранным на этом этапе развития организма означает, по сути, необходимость для организма встраиваться в новую среду, либо заново создавая концептуальную картину мира, либо пытаясь приспособить уже имеющуюся картину мира к системе репрезентаций, созданных для другой картины мира. И то и другое представляет для взрослого человека серьезные трудности.

5.2. Гносеологический статус знака

5.2.1 Неязыковые и языковые сущности

Как я пытался показать, категоризация сущности как знака определяется опытом, позволяющим устанавливать каузальные связи между различными взаимодействиями. Это важно подчеркнуть особо, так как речь не идет об отношениях непосредственно между сущностями, участвующими в этих взаимодействиях.

Если мы возьмем сущность, представляющую собой последовательность определенным образом организованных звуков, категоризируемую как слово (например, слово *дым*), то между нею и той сущностью, знаком которой слово *дым* принято считать, никакой онтологической зависимости нет. Следовательно, нет и какой-либо видимой связи между означающим (явной сущностью) и обозначаемым (скрытой сущностью). На этом очевид-

ном наблюдении и построен вывод о произвольности языкового знака, с которым наука о языке не хочет расстаться.

Вместе с тем — и это мне также представляется очевидным — этот вывод обусловлен тем, что игнорируется эпистемический принцип первичности феноменологии в познании, а потому этот вывод не может не быть ошибочным по своей сути. Любая сущность (неважно, языковая или нет) выявляется и категоризируется как таковая лишь в результате взаимодействия организма со средой. То, что мы привыкли называть языковым знаком (противопоставляя его тем самым знакам неязыковым), для Наблюдателя является таким же компонентом среды (ниши), как и любая другая сущность, с которой организм может вступать во взаимодействие.

Многовековая традиция рассмотрения языка как автономной системы отразилась в подходе к языковым единицам (знакам) как сущностям, кардинальным образом отличающимся от других (неязыковых) сущностей по своим онтологическим свойствам. Главным из этих свойств является так называемая “произведенность” знака, поскольку языковые знаки принято считать продуктом интенциональной творческой деятельности, направленной на обеспечение коммуникации. При этом упускается из виду одна существенная деталь: коммуникация как область когнитивных взаимодействий организмов служит основой языкового поведения, но она этим поведением не исчерпывается. Хотя сам по себе этот факт никем не оспаривается (что вполне естественно, так как в противном случае следовало бы признать, что кроме человека как биологического вида никто больше к коммуникации не способен), каждый раз, когда заходит речь о функции языка, происходит незаметная метаморфоза, в результате которой коммуникация уравнивается с языковой деятельностью.

Коммуникация есть обмен информацией. Этот обмен может осуществляться не только посредством языка, но и другими способами. Если информацию рассматривать как ориентирующее взаимодействие, модифицирующее поведение ориентируемого организма, то языковая деятельность будет всего лишь одной из возможных областей ориентирующих взаимодействий, хотя, несомненно, и наиболее эффективной. Эти другие способы коммуникации также можно рассматривать как интенциональную деятельность, включающую произведенные знаки (крики, жесты и т. п.), однако это не делает их видами языковой деятельности. Следовательно, “произведенность” как свойство языкового знака не является решающим в определении его онтологической сущности.

Не является оно решающим еще и потому, что “произведенность” как свойство предполагает “сотворенность” сущности, которую оно определяет. Применительно к языковому знаку это свойство имплицитно “созидание” как суть языковой деятельности. Наличие такой импликации возможно лишь в одном случае, а именно, когда достаточно убедительно решен вопрос о происхождении языка. До тех пор, пока этот вопрос остается нерешенным, говорить о “произведенности” языкового знака мне представляется неуместным.

Наоборот, для человека, усваивающего язык естественным путем, вопрос об интенциональном характере “произведенных” (= “сотворенных” - но кем? когда? как?) знаков, образующих систему языка, не возникает вообще. С самых первых минут жизни человека как организма языковые знаки являются такими же естественными компонентами ниши, как любые другие сущности, с которыми организм вступает во взаимодействие, начиная долгий, но необходимый процесс приобретения и накопления опыта. До тех пор, пока младенец / ребенок / подросток / взрос-

лый человек находится в окружении себе подобных, до тех пор продолжается приобретение языкового опыта, хотя скорость и интенсивность этого процесса на разных этапах будут разными, обнаруживая общую тенденцию к затуханию.

Для новорожденного младенца языковые знаки, с которыми он вступает во взаимодействие, знаками не являются — впрочем так же, как не являются для него знаками и любые другие сущности-компоненты ниши. В плане оказания ориентирующего воздействия на организм, звук упавшего на пол предмета не будет отличаться от звука произнесенного кем-то слова, хотя их репрезентации как специфические состояния активности нервной системы будут, несомненно, различными. Только при многократно повторенном взаимодействии с однотипными компонентами ниши, когда элементарные репрезентации приобретают стабильный характер, происходит их объединение в сложную структуру. Наличие этой структуры, собственно говоря, и позволяет вести речь об установлении каузальных связей между двумя взаимодействиями, в результате чего одна сущность приобретает знаковый характер по отношению к другой (см. предыдущий раздел). Вот как видит Д. Деннетт процесс генерации языкового знака (“ярлыка”):

“Посмотрите, что происходит на ранней стадии языковой жизни всякого ребенка. “Горячо!” — говорит мама. “Не прикасайся к плите!” На этом этапе ребенок не знает, что означает “горячо”, “прикасаться” или “плита” — они, *главным образом*, всего лишь звуки, слуховые типособытия (event-types), которые оставляют некоторый след, которые имеют некоторую знакомость, некоторую эхо-подобную запоминаемость” (Dennett 1992:5).

Но самое интересное происходит после того, как такая связь установилась. Каузальная связь между двумя сущностями (точ-

нее, взаимодействиями с ними) существует в виде сложной репрезентации, инкорпорирующей элементарные репрезентации этих взаимодействий. Взаимодействие с одной сущностью активирует соответствующую элементарную репрезентацию, которая индуцирует состояние активности другой элементарной репрезентации. В этом случае мы говорим, что одна (явная) сущность является знаком другой (скрытой) сущности. Но нет закона, диктующего последовательность взаимодействий организма с компонентами среды, когда взаимодействие с единицей языка обязательно предшествовало бы или следовало за взаимодействием с другой, неязыковой сущностью. А это значит, что *точно так же, как слово может служить знаком некоторого объекта, объект может служить знаком слова*, т. е. знаковое отношение основано на *взаимной каузальности*.

Этот вывод с неизбежностью вытекает из того факта, что знаки естественного языка суть эмпирические объекты, входящие в область взаимодействий организма на тех же основаниях, что и неязыковые объекты, а именно, по принципу доступности для восприятия, т. е. их «явленности» чувствам. Однако в философии языка (в частности, в семиотике) сложилась традиция рассматривать языковые объекты как априорно явные сущности, тогда как все неязыковые объекты, обнаруживающие с языковыми объектами каузальную связь, априорно рассматриваются как скрытые сущности. Эта исходная эпистемологическая посылка является краеугольным камнем в построении всех существующих лингвистических знаковых теорий. Но насколько она соответствует действительному положению дел?

Если мы попытаемся представить себе область взаимодействий организма (его нишу) как некоторое физическое пространство, образуемое множеством объектов, доступных восприятию, то доля языковых объектов в ней может оказаться ничтожно малой

или вообще нулевой. Человек может находиться в ситуации, в которой отсутствуют как звуковые, так и визуальные языковые объекты, но присутствуют различные объекты неязыковой природы. Что происходит в процессе восприятия этих объектов человеком?

Во-первых, все воспринимаемые объекты делятся на узнаваемые и неузнаваемые, при этом последних в тривиальном случае будет значительно меньше, чем первых, или они могут отсутствовать вообще. Узнаваемый объект — это объект, взаимодействие с которым активизирует сложную репрезентацию (ментальную структуру опыта/памяти, т. е. концепт). Одной из составных частей этой сложной репрезентации является элементарная репрезентация предшествовавшего взаимодействия с этим объектом, или набор таких элементарных репрезентаций. В нормальном случае (т. е. в случае физически и умственно здорового человека, развитие которого как организма проходило в естественных для вида *homo sapiens* условиях) в этот набор входит репрезентация взаимодействия с другим, языковым объектом, находящимся в каузальной связи с первым. Как языковой, так и неязыковой объект участвуют в формировании единого концепта на одинаковых эпистемических основаниях, а именно, через чувственный опыт, ведущий к возникновению специфических состояний активности нервной системы, т. е. репрезентаций. В зависимости от того, какие элементы концепта и с какой степенью интенсивности активизируются при восприятии объекта, итоговая конфигурация может включать в себя репрезентацию того или иного языкового объекта (например, слова) как возможного имени воспринимаемого объекта. Не последнюю роль в этом играют как характеристики самой ситуации восприятия (совокупность всех факторов, имеющих к ней прямое или косвенное отношение), так и *индивидуальный опыт наблюдателя*.

Наоборот, неузнаваемый объект — это объект, взаимодействие с которым хотя и ведет к возникновению сложной репрезентации определенной конфигурации, но сама эта конфигурация в силу своей новизны не способна “включить” существующую ментальную структуру с входящей в нее репрезентацией взаимодействия с каким-либо языковым объектом, втягивая ее в единую концептуальную структуру. В результате возникает трудность в номинации (концептуальной идентификации) объекта.

Во-вторых, в рассматриваемом случае языковой объект выступает в роли скрытой сущности, поскольку Наблюдатель, воспринимая, идентифицируя и именуя явную сущность, идет от неязыкового объекта к языковому. Это значит, что воспринимаемый неязыковой объект вступает в знаковое отношение с языковым объектом, т. е. происходит *семиотическое умножение мира*.

Важно отметить, что такое умножение мира оказывается в непосредственной зависимости от меры эмпирического (метафизического) опыта наблюдателя, включающего в качестве необходимого условия возможно больший опыт языковых объектов. Зависимость эта очевидна и не требует особого разъяснения. Отмечу только, что семиотическое умножение мира ведет к росту числа возможных интерпретаций знаковых отношений в геометрической прогрессии, а потому особую значимость приобретает способность извлечения из знаков знания непротиворечивым образом, обеспечивающим, в конечном счете, эффективность языковой коммуникации.

Наконец, в-третьих. Поскольку языковые знаки являются для Наблюдателя эмпирическими объектами, в результате взаимодействий между ними также могут возникать каузальные связи. Это положение очень важно для понимания истоков языковой компетенции, ибо позволяет по-новому подойти к вопросу о когнитивной природе грамматики естественного языка.

Нельзя не согласиться с тем, что “теоретические принципы когнитивной лингвистики или когнитивной семантики мало или вовсе не применяются к ... грамматическим категориям” (Dineva 1994:149). Между тем необходимость эта назрела, поскольку все чаще в работах, посвященных анализу грамматических категорий, начинают присутствовать такие когнитивные понятия, как “наблюдатель”, “субъект восприятия”, “экспериенцер”, “субъект сознания”, “поле зрения”, “перцептуальное пространство”, “личная сфера” и т. п. (см. напр. Апресян 1986, Гловинская 1982, Кравченко 1992, 1995в, 1996, Падучева 1992, 1997, Bod 1998, Циммерлинг 1999 и мн. др.).

Прежде всего под вопрос необходимо поставить правомерность подхода к грамматике как некоторой системе эксплицитно формулируемых правил, обеспечивающей функционирование языка как коммуникативной системы по порождающему принципу (см. предыдущую главу). Такое понимание грамматики плохо согласуется с живой языковой реальностью по одной простой причине: грамматическое правило как определенный концепт есть продукт интерпретативной деятельности наблюдателя, и его толкование напрямую зависит от исходной системы координат, в рамках которой этот концепт “строится”. Именно поэтому “язык усваивается наилучшим способом без сознательного заучивания правил, даже если такие правила известны в науке” (Жинкин 1998:83).

Традиционно, то или иное грамматическое правило выводится дедуктивным путем на основе анализа межзнаковых отношений (конвенциональная область синтактики). При этом упускается из виду то обстоятельство, что все возможные (встречающиеся в норме) виды межзнаковых отношений обуславливаются языковым опытом Говорящего. В свою очередь, языковой опыт, по определению, подразумевает и другие виды знаковых отно-

шений, обычно относящихся к области семантики и прагматики (см. Кравченко 1996б) и уходящих корнями во *взаимодействие человека с миром*. Следовательно, природу грамматики, понимаемой не как набор сформулированных кем-то (насколько компетентно?) правил употребления знаков, но как некоторые общие принципы отражения в знаковых формах опыта взаимодействия с миром, нельзя раскрыть без обращения к особенностям когнитивной деятельности человека (см. напр. Barlow, Kemmer 2000).

Представляется, что более адекватным будет такой подход, при котором грамматика естественного языка определяется как знаковая система *представления знаний*, а каждая грамматическая категория соотносится с определенным существенным аспектом когнитивной обработки информации. Овладение грамматической системой языка — естественный саморегулирующийся процесс, в ходе которого ребенок вырабатывает способность категоризировать чувственные данные в виде концептов, инкорпорирующих в своей структуре каузальные связи между объектами языковой и неязыковой природы, приписывая им определенные когнитивные значимости. Эти когнитивные значимости, являющиеся ничем иным как продуктом опыта взаимодействия с миром, и определяют языковую компетенцию Говорящего.

5.2.2 Когнитивная область взаимодействий

Подход к языковым знакам как естественным эмпирическим объектам — каковыми они и являются для всякого наблюдателя, ибо категоризируются как сущности на тех же основаниях, что и любые другие объекты, т. е. в результате опыта взаимодействия с ними — позволяет по-новому подойти к проблеме соотношения

языка и мира, особенно в плане выявления особенностей языковой картины мира и ее соотношения с научной картиной мира. Кроме того, метафизический подход к языку открывает интересные перспективы в изучении природы мыслительных процессов, продуктом которых выступает знание.

Взаимодействие человека с компонентами среды можно подразделить на следующие типы областей:

1. Метафизическая область взаимодействий с объектами. Под объектами понимаются любые эмпирические сущности, выявляемые и категоризуемые на основе опыта Наблюдателя. Это означает, что знаки естественного языка входят в эту область взаимодействий на равных основаниях с другими, незнаковыми сущностями. На уровне репрезентаций этой области взаимодействий соответствуют специфические состояния активности нервной системы, которые выше были названы элементарными репрезентациями.

2. Когнитивная область взаимодействий с объектами. Эту область образуют повторяющиеся взаимодействия с однотипными объектами (компонентами ниши), в результате которых возникают каузальные связи между компонентами ниши и, соответственно, знаковые отношения. На уровне репрезентаций этой области взаимодействий соответствуют специфические состояния активности нервной системы, которые выше были названы сложными репрезентациями (концептами). Структурными элементами сложных репрезентаций являются различные сочетания (конфигурации) элементарных репрезентаций.

Когнитивная область взаимодействий охватывает как объекты общей онтологии (например, дым и огонь), так и онтологически независимые объекты (например, дым и слово *дым* как эмпирический объект, выступающий в функции знака по отношению к дыму). С точки зрения наблюдателя, онтология объектов, объе-

диненных знаковым отношением, несущественна, ибо это отношение имеет гносеологический характер.

Существенными являются каузальная природа знакового отношения, воплощенного в сложной репрезентации, и совпадение консенсуальных областей взаимодействий организмов (наблюдателей). Совпадение консенсуальных областей взаимодействий двух наблюдателей ведет к формированию однотипного инвентаря сложных концептов (репрезентаций), нефизическое взаимодействие с которыми (коммуникация), в свою очередь, будет вызывать однотипные Описания третьего порядка.

Коммуникативная когнитивная область включает в себя две подобласти — область неязыковых взаимодействий и область языковых взаимодействий. Эти области существуют не отдельно одна от другой, они пересекаются и накладываются друг на друга, образуя в своей совокупности консенсуальную область взаимодействий.

Реакция ориентируемого организма на неязыковое поведение ориентирующего организма, связанная с возникновением сложной репрезентации, по своей онтологии не отличается от реакции на взаимодействие с любым другим компонентом ниши. Различие между этими реакциями обусловлено тем, что взаимодействие с компонентами ниши (объектами) не носит ориентирующего характера для самого наблюдателя, но оно может стать ориентирующим для другого наблюдателя при совпадении их консенсуальных областей взаимодействий.

Так, взаимодействие с компонентом ниши “дым” вызывает определенную поведенческую реакцию организма. Однако если область взаимодействий этого организма не является консенсуальной для области взаимодействий другого организма — т. е. другой организм не может вступить во взаимодействие с поведенческой реакцией первого организма, реакция первого орга-

низма не может модифицировать поведение второго организма, ориентируя его на какую-либо часть области его взаимодействий, отличную от той части, в которую входит данное взаимодействие. Другими словами, коммуникация отсутствует.

Какие условия, определяющие области взаимодействий организмов, должны быть соблюдены, чтобы коммуникация имела место? Что происходит при совпадении консенсуальных областей взаимодействий организмов? Всегда ли поведенческая реакция одного организма оказывает ориентирующее воздействие на другой организм?

Как было отмечено выше, поведенческая реакция организма, вызванная взаимодействием с компонентом (одним или несколькими) ниши, есть результат взаимодействия организма с репрезентацией, служащей установлению каузальной связи между явной и скрытой сущностями. Ориентирующее воздействие одного организма на другой по сути дела есть не что иное, как результат интерпретации поведения первого организма на основе опыта, которым располагает второй организм. Этот опыт представлен в виде сложных репрезентаций определенной структуры, возникших в результате синтеза элементарных репрезентаций взаимодействий, образующих метафизическую область взаимодействий организма.

Процесс интерпретации, в общих чертах, состоит в следующем. Взаимодействие с поведением первого организма ведет к возникновению набора элементарных репрезентаций. Часть этих репрезентаций (незначительная, значительная, или подавляющая) совпадает с элементарными репрезентациями, уже существующими в составе сложных репрезентаций. В зависимости от количества и “удельного веса” совпадающих элементарных репрезентаций, резонансный эффект приводит к активации сложной репрезентации определенной конфигурации (структуры). Взаимо-

действие с этой активированной репрезентацией и будет поведенческой реакцией, подвергшейся модификации.

Здесь необходимо сказать несколько слов о “консенсуальности” областей взаимодействий как понятии, ибо очень важно не упустить из виду имплицитное этим понятием условие. Это условие заключается в том, что “консенсуальность” предполагает, во-первых, совпадение пространственных пределов действия чувственных анализаторов, которыми располагают взаимодействующие организмы, а во-вторых — и это вытекает из первой части условия — количество таких анализаторов и принципы их действия должны совпадать. По большому счету это означает, что полноценная неязыковая коммуникация возможна только между представителями одного биологического вида.

И все-таки, остается неясным, чем коммуникативное взаимодействие отличается от некоммуникативного, если поведенческая реакция организма, вызываемая в том и другом случае, основана на взаимодействии с имеющимися репрезентациями как мнемоническими структурными единицами опыта, т. е. на нефизическом взаимодействии. В чем суть различия между ориентирующим и неориентирующим взаимодействием? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо снова вернуться к понятию интенциональности и связанному с ним понятию значимости.

5.3 Интенциональность и значимость

Понятие интенциональности в современной науке (точнее, в комплексе наук, объектом изучения которых в той или иной мере является человек) используется, как минимум, в трех относительно разных сферах: в лингвистической семиотике, в филосо-

фии и когнитивной психологии, и в теории самоорганизующихся живых систем (автопойезисе).

В первом случае интенциональность определяется как необходимое свойство знака, имеющее конституирующий характер. Знак есть намеренно созданный артефакт, предназначенный для выполнения коммуникативной функции, и именно поэтому он интенционален.

Во втором случае, в философской теории познания под интенциональностью понимается определенная психологическая категория, связывающая мысль с вещью, разум с миром (так называемый “тезис Brentano” — см. Putnam 1988, Haldane 1989, 1992, Прист 2000). В дискуссии, широко развернувшейся в 80-90-е гг. 20 в. (в который раз!) вокруг познания и того, как и в виде чего знание существует в человеческом сознании (хотя, например, в русской картине мира второе невозможно без первого, оно создается им, ибо сознание есть свойство человека, имеющего знание, т. е. человека *со знанием*), проблема определения интенциональности как мыслительного содержания, некоторым образом репрезентированного в ментальных структурах и выводимого в мир через формальные семантические структуры, занимает центральное место (см. Lycan 1996).

В третьем случае, интенциональность рассматривается как способ самоорганизации живого организма. Он заключается в том, что, взаимодействуя со средой (как она представляется наблюдателю, безотносительно к находящейся в ней автономной живой системе), живой организм привносит в эту среду значимость (*signification*), превращая ее в мир, вне которого невозможна идентификация и самоидентификация организма как компонента этого мира (Varela 1992).

Об интенциональности как свойстве знака речь уже шла выше. Здесь я добавлю только одно соображение, подкрепляю-

щее приводившиеся ранее доводы против интенциональности знака как она понимается структуралистами.

Говоря о намеренном “производстве” языковых знаков, они, как представляется, упускают из виду принципиальное различие между звуковым и письменным языком (и об этом тоже уже говорилось). Спору нет, графическое слово — *bona fide* артефакт, но насколько обоснованным можно считать отнесение к артефактам звукового слова? Только лишь потому, что одна из существующих гипотез о происхождении языка приписывает его создание человеку? Но гипотеза, какой бы привлекательной она ни казалась, остается гипотезой, пока она не получила достаточно весомых и убедительных доказательств. На сегодняшний день доказательствами того, что язык — продукт целенаправленной творческой деятельности человека, наука не располагает.

Напротив, все больше ученых склоняется к тому, что язык — продукт эволюционного развития человека как биологического вида. В этом случае вопрос об искусственной природе языкового знака (звукового слова) вообще снимается с повестки дня. В самом деле, ведь никому не придет в голову говорить об искусственном происхождении смеха, плача или крика боли — а ведь все они, строго говоря, могут рассматриваться как средства коммуникации, так как оказывают ориентирующее воздействие. Тут мы опять с необходимостью возвращаемся к неадекватности общепринятого определения функции, которую призван выполнять язык (см. 1-ю главу). Как упоминалось выше, языковая деятельность образует лишь подобласть коммуникативных взаимодействий, которые могут иметь как языковой, так и неязыковой характер.

Вместе с тем, в отличие от неязыковых видов коммуникации, использование языка (т. е. речь) всегда ассоциируется с наличием интенции как некоторого волевого акта, или с желанием

вступить в коммуникацию. Но и здесь все не так просто, как может показаться.

С одной стороны, смех или плач в этом смысле ничем не отличаются от речи, так как человек, все тем же волевым усилием (т. е. интенционально), может заставить себя смеяться или плакать, когда ему этого совсем не хочется, либо сдержать себя, не смотря на страстное желание поплакать или расхохотаться.

С другой стороны, одним из тривиальных случаев языковой деятельности являются “некоммуникативные” речевые акты, когда речь говорящего обращена либо к самому себе, либо к животному, не обладающему языковой способностью, либо к заведомо неодушевленному предмету, или она вообще не имеет адресата как такового. В последнем случае имеются в виду ситуации, когда человек, поглощенный какой-либо деятельностью, произносит слова, фразы или целые предложения, нередко не отдавая себе в этом отчета. Единственное, что отличает порождаемые человеком в таком случае звуки от неязыковых звуков (вздохов, кряхтенья и т. п.) — ассоциируемое с ними значение (*meaning*), закрепленное в языковой системе, но зачастую они не имеют сколько-нибудь определенного коммуникативного смысла. Если же вспомнить о том, что структуралисты рассматривают интенциональность в контексте интенциональной направленности как свойства знака, предназначенного для некоторого получателя (адресата), возникает вопрос о том, кто же выступает в роли этого адресата.

Таким образом, понятие интенциональности в лингвистической семиотике весьма неопределенно и расплывчато. Если же связать понятие интенциональности непосредственно с процессом знакопорождения, т. е. с категоризацией объектов как значащих сущностей, взаимодействие с которыми оказывает ориентирующее воздействие на организм, ин-формируя его в мире,

то мы оказываемся перед необходимостью рассматривать интенциональность как биологическую когнитивную функцию.

Интенциональность как философская категория связана с проблемой, упоминавшейся в 4-й главе, а именно, с проблемой связи между мыслью и миром посредством языка (см. напр. Fodor 1987, Carruthers 1996). В этом смысле репрезентации и интенциональность — две стороны одной медали (см. Fodor 1998), но при этом никто не знает (по крайней мере, такое складывается впечатление), из чего эта медаль сделана.

Тупиковая ситуация, в которой оказалась философская мысль, вызвана тем, что все попытки решить проблему предпринимаются в рамках формальной вербальной логики в лучших картезианских традициях, тогда как все понимают, что мысль и языковое выражение, посредством которого мысль материализована, не одно и то же. Не вдаваясь в детали философской дискуссии об интенциональности как мыслительном содержании, овеществленном в языке, сошлемся на авторитетное мнение относительно места логики в решении проблемы мыслительной деятельности:

“Логику часто определяют как науку о законах мышления. Но такое определение, хотя и помогает понять природу логики, является неточным. В первую очередь, мышление — один из процессов, изучаемых психологами. Логика не может быть “наукой” о законах мышления, потому что психология — тоже наука, занимающаяся законами мышления (среди прочих вещей). Логика же не является отраслью психологии; это отдельная самостоятельная научная область.

Во вторую очередь, ... всякое рассуждение есть мышление, но не все мышление есть рассуждение” (Corti 1961:3 и сл.).

Вполне оправданным представляется высказанное Ф. Джонсоном-Лэрдом сомнение по поводу того, что логический аппарат

является частью человеческого когнитивного механизма (Johnson-Laird 1983).

Итак, хотим мы того или нет, но подход к решению проблемы интенциональности намечается один, в рамках естественнонаучной (биологической) парадигмы — конечно при условии, что интенциональность рассматривается как когнитивный феномен саморегуляции живого организма. По большому счету, проблема интенциональности находится в одной связке с проблемой значения; более того, она — ключ к пониманию генезиса значения. Ведь если исходить из каузальной природы знакового отношения, то нельзя не признать, что самое каузальное отношение (например, между дымом и огнем) уже есть значение, привнесенное в мир живой (когнитивной) системой и призванное способствовать ее саморегуляции через информирование в этом мире.

Суть коммуникации состоит в оказании одним организмом ориентирующего воздействия на другой организм, в результате которого поведенческая реакция ориентируемого организма (Описание его ниши) подвергается модификации. При этом надо понимать, что ориентирующим это взаимодействие является, в первую очередь, потому, что первый организм имеет интенцию модифицировать поведение второго организма определенным образом (что, однако, вовсе не означает, что поведение второго организма с необходимостью будет модифицировано). Но откуда возникает эта интенция, и какое значение для первого организма может иметь модификация поведения второго организма (т. е. модификация Описания ниши)?

Очевидно, что такая модификация имеет целью изменение среды (области взаимодействий) первого организма, частью которой является второй организм с его нишей. Это изменение направлено на оптимизацию взаимодействия первого организма со

средой, т. е. в конечном итоге оно обусловлено первым экзистенциальным приоритетом живой системы — выживанием. “Для организма среда есть множество процессов и компонентов, которые необходимо распознать и которыми необходимо манипулировать, чтобы обеспечить выживание и воспроизводство” (Moreno, Merelo, Etxeberria 1992:66).

Модификация поведения ориентируемого организма возможна при следующих условиях:

а) консенсуальные области взаимодействий обоих организмов совпадают,

б) ориентируемый организм (Наблюдатель) взаимодействует с репрезентациями Описаний (коммуникативных) взаимодействий ориентирующего организма (Описаний третьего порядка) с репрезентациями Описаний первого порядка, что предполагает

в) интенциональный акт привнесения значимости в консенсуальную область взаимодействий как со стороны ориентирующего, так и со стороны ориентируемого организма; благодаря этому осуществляется саморегуляция организма как живой системы, встраивающейся в среду и превращающей ее в мир, наполненный значимостью.

Например, организм *A* и организм *B* разделяют общую консенсуальную область взаимодействий. Организм *A* взаимодействует со средой, и его поведение, являющееся следствием этих взаимодействий, есть описание этих взаимодействий (Описание ниши, или Описание первого порядка). Взаимодействия организма *A* (как наблюдателя собственных взаимодействий) с этими описаниями ведут к возникновению специфических состояний активности нервной системы, или репрезентаций (Описаний второго порядка). Далее, организм *A* вступает в область нефизических взаимодействий с репрезентациями, и его поведение, модифицированное этими взаимодействиями, будет для организма *B*

Описанием третьего порядка, т. е. описанием взаимодействий с репрезентациями (коммуникативным поведением).

Наблюдение организмом *B* Описаний третьего порядка есть не что иное, как взаимодействие с компонентом среды, ведущее к возникновению репрезентаций уже в его, организма *B*, нервной системе. Организм *B*, в свою очередь, взаимодействуя со средой аналогично тому, как это делает организм *A*, может сам выступать в роли наблюдателя собственных Описаний. В таком случае он оказывается в положении, когда взаимодействие с Описанием третьего порядка организма *A* ведет к возникновению в сознании организма *B* репрезентации, конфигурация которой более или менее совпадает с конфигурацией репрезентации, уже имеющейся в результате взаимодействия организма *B* с собственными Описаниями. Возникающий резонансный эффект активирует уже имеющуюся репрезентацию, взаимодействие с которой ведет к модификации поведения организма *B*, изначально вызванной взаимодействием организма *A* с собственными репрезентациями.

В этом, в самых общих чертах, и состоит коммуникативное взаимодействие, и схема его, как видим, сама по себе довольно простая. Однако одно звено в ней остается загадкой, а именно, движущая сила взаимодействий организма с репрезентациями собственных взаимодействий. Что заставляет организм вступать в такие взаимодействия?

Ответ, по всей видимости, заключается в том, что репрезентации как специфические состояния активности нервной системы, обладают значимостью в том смысле, что они модифицируют поведение организма, направленное на взаимодействие с другим организмом как компонентом мира, с которым первый организм находится в состоянии *взаимной каузации*. Признание взаимной каузации как онтологической данности позволяет го-

ворить о различных модусах самоорганизации, где локальное (организм) и глобальное (мир) переплетены (Varela 1992:6).

Значимость отношения взаимной каузации состоит в том, что изменение (в результате взаимодействия) одного элемента отношения ведет к изменению другого элемента, оказывая модифицирующее воздействие на среду, которая оказывает модифицирующее воздействие на организм — и все это происходит в рекурсивном порядке. И здесь мы опять находим круговую организацию:

⇒ взаимодействие со средой описывается поведением организма *A*

⇒ собственное наблюдаемое поведение организма *A* описывается репрезентациями

⇒ репрезентации описываются коммуникативным поведением организма *A*

⇒ коммуникативное поведение организма *A*, наблюдаемое организмом *B*, активирует в организме *B* репрезентации, являющиеся описанием его собственного поведения, аналогичного поведению организма *A*

⇒ организм *B* модифицирует свое поведение как если бы он взаимодействовал с той же средой и таким же образом, как это делает организм *A*; но поскольку области взаимодействий (ниши) *A* и *B* не совпадают, модифицированное поведение *B* не может быть полным описанием его области взаимодействий, оно будет лишь описанием области коммуникативных взаимодействий, одновременно изменяя состояние мира, *ин-формирующего* организм *A*

⇒ это изменение мира ведет к модификации поведения организма *A*, которое является описанием его области взаимодействий

⇒ круг замыкается.

Модификация поведения организма, обусловленная значимостью репрезентаций, и есть *биологическая основа интенциональности* как свойства живой системы. Сама же значимость возникает из установления каузальных связей между различными взаимодействиями организма (включая взаимодействия с репрезентациями), т. е. из опыта (см. начало главы).

Это, в частности, означает, что интенциональности не может быть там, где нет значимости, а поскольку значимость — функция, имеющая своим аргументом опыт, количество и качество которого находятся в прямой зависимости от времени, то можно сделать следующий вывод:

Интенциональность есть свойство живой системы модифицировать состояние взаимной каузации с миром на основе опыта, приобретенного со временем, с целью поддержания экологической системы, обеспечивающей возможность взаимной каузации между организмом и миром.

Другими словами, интенциональность есть когнитивная функция организма как она понимается в теории живых систем: “функции, обычно рассматриваемые как когнитивные, есть результат [действия] специализированной подсистемы организма, непрерывно воспроизводящей структуры (patterns), которые являются функциональными или референциально соотносятся с определенными изменениями, происходящими в среде. Это множество структур (созданных на протяжении существования каждого когнитивного организма) образует то, что мы обычно называем информацией” (Moreno, Merelo, Etxeberria 1992:67).

Эти непрерывно воспроизводимые структуры, соотносящиеся с изменениями в среде, есть те специфические состояния

активности нервной системы (репрезентации), с которыми организм взаимодействует именно потому, что они соотносятся (находятся в каузальной связи) с изменениями среды, т. е. они обладают значимостью. Отсюда следует очень важный вывод — не только для семиотики, но и для теории познания в целом:

Репрезентации как ментальные структуры, порожденные опытом (и потому представляющие собой хранилище информации) есть знаковые сущности, биологическая функция которых заключается в том, что, взаимодействуя с ними, организм приспособляется к среде посредством контроля информации.

Таким образом, мы снова возвращаемся к концептуальной линии в истории развития семиотики (см. 2-ю главу), связанной с идеями ментальных состояний (Аристотель), или ментальных слов (Бл. Августин), которые являются естественными знаками (Оккам), или личными метками (Гоббс), и к которой самое непосредственное отношение имеет понятие индекса как типа знака (Пирс). Это лишний раз доказывает правоту трюизма о том, что все новое — это основательно забытое старое, а также то (по шутливому замечанию Т. Гивона в личной беседе), что “в лингвистике нет ничего нового, так как обо всем в свое время сказал Аристотель”.

Кроме того, этот вывод подрывает все здание, выстроенное структурализмом вокруг понятия знака вообще, и языкового знака в частности. Действительно, если естественный (звуковой) язык рассматривать как вид адаптивного поведения организма (Описание его взаимодействий с репрезентациями, которые находятся в отношении каузальной связи с изменениями в среде), то языковые знаки оказываются знаками не компонентов среды (физических сущностей, объектов), а репрезентаций, которые сами являются знаками по определению. Следовательно, язык

есть система, состоящая из знаков знаков (ср. с пирсовым законом “знак за знак”).

В свою очередь, языковые знаки как совокупность компонентов среды, конституирующих определенный тип поведения организма (коммуникативное поведение) как Описание ниши когнитивных взаимодействий, подвержены изменениям в той мере, в какой организм и среда находятся в состоянии взаимной каузации. Этим, в частности, объясняются исторические изменения, которым подвержен естественный язык. Кроме того, поскольку язык есть своеобразная среда (подобласть когнитивной области взаимодействий), или часть мира, и одновременно деятельность, создающая эту среду, то его состояние естественным образом зависит от состояния (совокупности специфических характеристик) мира, помогая понять исторические судьбы развития языков и их многообразие.

КРАТКИЙ ИТОГ

Как, наверное, заметил читатель, я не предлагаю окончательно сформулированной теории, пытаюсь поставить точку в спорах о том, что такое язык, и как соотносятся между собой знак, значение, знание. Как сказано в названии книги, это всего лишь очерк когнитивной философии языка, преследующий более прозаическую цель: показать, по возможности, в чем камень преткновения для языкознания как науки, и наметить возможный путь его преодоления. Этот путь мне представляется гораздо более перспективным и многообещающим, так как позволяет на деле, а не на словах, превратить языкознание в науку, имеющую эмпирический объект изучения.

Подводя итог и суммируя основные положения и выводы когнитивного (биологического, или естественнонаучного) подхода к проблеме языка и языкового знака, можно констатировать следующее:

1. Знаковое отношение есть отношение каузальной связи между двумя эмпирическими сущностями, устанавливаемое на основе опыта (взаимодействий). Эмпирической сущностью является любой компонент среды (ниши), с которым организм может вступать во взаимодействие, включая нефизические взаимодействия с репрезентациями. *Отношение каузальной связи обладает значимостью, поскольку оно имеет взаимный характер.*

2. Естественноречевой знак есть эмпирическая сущность (компонент среды), который для наблюдателя является описанием взаимодействия с репрезентацией, с которой знак находится в состоянии взаимной каузации, и которая находится в каузальной связи с компонентом среды. Это значит, что *языковой знак как*

эмпирический объект находится в опосредованном отношении взаимной каузальной связи с другим эмпирическим объектом как компонентом среды.

3. Взаимодействуя с репрезентациями, организм приспосабливается к среде посредством контроля информации, осуществляя, таким образом, когнитивную функцию. Совпадение консенсуальных областей взаимодействий организмов с репрезентациями расширяет область их когнитивных взаимодействий, увеличивая объем контролируемой информации и повышая эффективность адаптации к среде.

4. Консенсуальная область взаимодействий организмов с собственными репрезентациями и репрезентациями поведения друг друга есть когнитивная область коммуникативных описаний. Консенсуальность области нефизических взаимодействий с репрезентациями (возможность контроля информации) обеспечивается взаимодействием организмов с ними самими порождаемыми эмпирическими сущностями акустической природы (естественноречевыми знаками), находящимися в отношении взаимной каузальной связи с репрезентациями.

5. Взаимная каузальная связь языкового знака с репрезентацией, порожденной опытом взаимодействия со средой, обуславливает *опытную природу его значения*. Совокупность языковых знаков со всеми конституирующими их свойствами образует язык как эмпирический объект.

6. Совокупность взаимодействий организмов с языковыми знаками как эмпирическими объектами, находящимися в опосредованном (через репрезентации) отношении взаимной каузальной связи с другими эмпирическими объектами (компонентами среды), с целью изменения среды через модификацию поведения

организмов, взаимодействующих с репрезентациями как описаниями собственного поведения, образует язык как функциональную адаптивную деятельность, суть которой состоит в контроле информации.

Перечисленные положения дают представление о новой философии языка, имеющей метафизическую ориентацию и потому существенно отличающейся от традиционных воззрений на язык. Подход к языку как биологической (когнитивной) функции ставит на повестку дня целый ряд серьезных задач, и когнитивная наука находится лишь на дальних подступах к их решению. Самой главной из этих задач является решение проблемы генерации и представления знания как категоризованной и репрезентированной информации, с которой организм вступает во взаимодействие, ибо эта информация образует его непосредственную среду. Вся история эволюции человеческой цивилизации служит иллюстрацией того, что путь, по которому идет развитие человека как вида, направлен на увеличение степени его воздействия на среду через контроль информации с целью повышения своей адаптивной способности.

Мы все являемся свидетелями того, насколько быстро и в каких масштабах происходят изменения среды, обусловленные когнитивной деятельностью человека. Эффективность же этой деятельности целиком и полностью определяется языком. Понять функцию и принцип устройства языка как естественного объекта — значит понять человека и, соответственно, мир, частью которого является человек. Достижение такого понимания может, наконец-то, вплотную подвести нас к ответу на главный вопрос: "Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?"

Литература

- Амирова 1977 — Амирова Т. А. К истории и теории графемики. - М.:Наука, 1977.
- Апресян 1986 — Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира// Семиотика и информатика. - М.,1986.-Вып.28.
- Апресян 1999 — Апресян Ю. Д. Отечественная теоретическая семантика в конце XX столетия // Известия АН / Серия литературы и языка. - 1999. - Т. 58, № 4. - С. 39- 53.
- Аристотель 1978 — Аристотель. Об истолковании // Сочинения в 4-х т. Т. 2. - М.:Мысль, 1978. -С. 93-117.
- Арутюнова 1999 — Арутюнова Н. Д. Введение // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. - М.:Индрик, 1999. -С.3-10.
- Барт 1983 — Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. - М.:Радуга, 1983. - С. 306-349.
- Барулин 1994 — Барулин А. Н. О структуре языкового знака // Знак. Сборник статей по лингвистике, семиотике и поэтике. - М., 1994. - С. 245-251.
- Берестнев 1997 — Берестнев Г. И. О "новой реальности" языкознания // Филологические науки. - 1997.- № 4. - С.47-55.
- Виноград, Флорес 1996 — Виноград Т., Флорес Ф. О понимании компьютеров и познания // Язык и интеллект. - М.:Прогресс, 1996. С. 185-229.
- Волков 1966 — Волков А. Г. Язык как система знаков.-М.: Изд-во Моск. ун-та.-1966.
- Вундт 1998 — Вундт В. Введение в философию. - М.: Добросвет, 1998.
- Гадамер 1988 — Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - М.: Прогресс, 1988.
- Гак 1997 — Гак В. Г. Пространство времени // Логический анализ языка. Язык и время. - М.: Индрик, 1997. - С. 122-130.
- Гаспаров 1996 — Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. - М.:Новое Литературное Обозрение, 1996.

- Гловинская 1982** — Гловинская М. Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. - М.:Наука, 1982.
- Гринев 1997** — Гринев С. В. К уточнению некоторых основных понятий семиотики // Филологические науки. - 1997. - № 2. - С. 67-75.
- Гучинская 1997** — Гучинская Н. О. К построению поэтической теории языка // Studia Linguistica. Языковая система и социокультурный контекст. - С.-П.:Тригон, 1997. - № 4. - С.109-118.
- Даммит 1987** — Даммит М. Что такое теория значения? // Философия. Логика. Язык. - М.:Прогресс, 1987.
- Дешериева 1975** — Дешериева Т. И. Лингвистический аспект категории времени в его отношении к физическому и философскому аспектам // Вопросы языкознания.-1975.-№ 2.
- Дорошевский 1973** — Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. - М.:Прогресс, 1973.
- Живов, Тимберлейк 1997** — Живов В., Тимберлейк А. Расставаясь со структурализмом (тезисы для дискуссии) // Вопросы языкознания. - 1997. - № 3. - С. 3-14.
- Жинкин 1998** — Жинкин Н. И. Язык. Речь. Творчество. - М.:Лабиринт, 1998.
- Звегинцев 1996** — Звегинцев В. А. Мысли о лингвистике. - М.:Изд-во Моск. ун-та, 1996.
- Кобозева 2000** — Кобозева И. М. Две ипостаси содержания речи: значение и смысл // Язык о языке. - М.: Языки русской культуры, 2000. - С. 303-359.
- Кравченко 1992** — Кравченко А. В. Вопросы теории указательности: Эгоцентричность. Дейктичность. Индексальность. - Иркутск, 1992.
- Кравченко 1993** — Кравченко А. В. К проблеме наблюдателя как системообразующего фактора в языке // Известия АН / Серия литературы и языка. - 1993. - Т. 52, № 3.- С. 45-56.
- Кравченко 1995а** — Кравченко А. В. Принципы теории указательности. АДД. М., 1995.

- Кравченко 1995б** — Кравченко А. В. Глагольный вид и картина мира // Известия АН / Серия литературы и языка. - 1995. - Т. 54, № 1.- С. 49-64.
- Кравченко 1995в** — Кравченко А. В. Загадка рефлексива: избыточность или функциональность? // Филологические науки. - 1995. - № 4. - С. 92-105.
- Кравченко 1996а** — Кравченко А. В. Когнитивные структуры пространства и времени в естественном языке // Известия АН / Серия литературы и языка. -1996. -Т. 55, № 3.-С.3-24.
- Кравченко 1996б** — Кравченко А. В. Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой категоризации. - Иркутск, 1996.
- Кравченко и др. 1997** — Кравченко А. В., Верхотурова Т. Л., Слуднева Л. В., Ушакова Л. В., Кузина И. Ю. Английский глагол. Новая грамматика для всех. - Иркутск: Изд-во ИГЛУ, 1997.
- Куайн 1996** — Куайн В. Онтологическая относительность // Современная философия науки. - М.:Логос, 1996.-С.40-59.
- КФЭ 1994** — Краткая философская энциклопедия. - М.: Прогресс, 1994.
- КСКТ 1996** — Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. - М., 1996.
- Кубрякова 1992** — Кубрякова Е. С. Проблемы представления знаний в современной науке и роль лингвистики в решении этих проблем // Язык и структуры представления знаний. - М., 1992.
- Кубрякова 1997а** — Кубрякова Е. С. Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы) // Известия АН / Серия литературы и языка. - 1997. - Т. 56, № 3. С. 22-31.
- Кубрякова 1997б** — Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения. - М.:ИЯ РАН, 1997.
- Кубрякова 1999а** — Кубрякова Е. С. Когнитивные аспекты словообразования и связанные с ним правила инференции (семантического вывода) // Р. Беленчиков (ред.). Новые пути изучения словообразования славянских языков. 2-ое заседа-

- ние Международной комиссии по славянскому словообразованию. Магдебург, 1997. - Peter Lang, 1999. - С. 23-36.
- Кубрякова 1996** — Кубрякова Е. С. Семантика в когнитивной лингвистике (о концепте контейнера и формах его объективации в языке) // Известия АН / Серия литературы и языка. - 1999. - Т. 58, № 6. - С. 3-12.
- Кун 1996** — Кун Т. Объективность, ценностные суждения и выбор теории // Современная философия науки. - М.: Логос, 1996. - С. 61-82.
- Лебедева 1999** — Лебедева Л. Б. Бессознательное в языковом стиле // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. - М.: Индрик, 1999. - С. 135-145.
- ЛАЯ 1999** — Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. - М.: Индрик, 1999.
- Локк 1960** — Локк Д. Опыт о человеческом разуме // Избр. философ. соч.-я. Т. 1. М.: Соцгиз, 1960.
- Лосев 1991** — Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. - М.: Политиздат, 1991.
- ЛСД 1994** — Логический словарь ДЕФОРТ.-М.: Мысль, 1994.
- Лурия 1998** — Лурия А. Р. Язык и сознание. - Ростов н/Д: Феникс, 1998.
- Льюис 1983** — Льюис К. И. Виды значения // Семиотика. - М.: Радуга, 1983. - С. 211-224.
- ЛЭС 1990** — Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1990.
- Мамардашвили 1996** — Мамардашвили М. К. Стрела познания. - Набросок естественноисторической гносеологии. - М.: Языки русской культуры, 1996.
- Матурана 1996** — Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. - М.: Прогресс, 1996. С. 95-142.
- Моррис 1983** — Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. - М.: Радуга, 1983. - С. 37-89.
- Никитин 1996** — Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. С.-П.: Науч. центр проблем диалога, 1996.
- Никитин 1997** — Никитин М. В. Предел семиотики // Вопросы языкознания. - 1997, № 1. - С. 3-14.

- Ницше 1997** — Ницше Ф. Веселая наука. - Спб.: Азбука, 1997.
- Ожегов 1990** — Ожегов С. И. Словарь русского языка. - М.: Русский язык, 1990.
- Павиленис 1983** — Павиленис Р. И. Проблема смысла. - М.: Мысль, 1983.
- Павиленис 1986** — Павиленис Р. И. Язык: уникальность и многомерность // Язык. Наука. Философия / Логико-методологический и семиотический анализ. - Вильнюс, 1986.
- Падучева 1992** — Падучева Е. В. О семантическом подходе к синтаксису и генитивном субъекте глагола *быть* // Russian Linguistics. - 1992. - Vol. 16.
- Падучева 1997** — Падучева Е. В. Родительный субъекта в отрицательном предложении: синтаксис или семантика? // Вопросы языкознания. - 1997. - № 2. - С. 101-116.
- Панов 1980** — Панов Е. Н. Знаки. Символы. Языки. - М.: Знание, 1980.
- Панфилов 1977** — Панфилов В. З. Философские проблемы языкознания. - М.: Наука, 1977.
- Патнем 1996а** — Патнем Х. Введение к книге "Реализм и разум" // Современная философия науки. - М.: Логос, 1996. - С. 209-220.
- Патнем 1996б** — Патнем Х. Философы и человеческое понимание // Современная философия науки. - М.: Логос, 1996. - С. 221-244.
- Пельц 1983** — Пельц Е. Семиотика и логика // Семиотика. - М.: Радуга, 1983. - С. 137-150.
- Петров 1987** — Петров В. В. От философии языка к философии сознания // Философия. Логика. Язык. - М.: Прогресс, 1987.
- Плунгян 1998** — Плунгян В. А. Проблемы грамматического значения в современных морфологических теориях (обзор) // Семиотика и информатика. - Вып. 36. - М., 1998. - С. 324-386.
- Прист 2000** — Прист С. Теории сознания. Пер. с англ. - М.: Идея Пресс, 2000.
- Рассел 1997** — Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. - Киев: Ника-Центр; Вист-С, 1997.

- Рахилина 1998** — Рахилина Е. В. Когнитивная семантика: история, персоналии, идеи, результаты // Семиотика и информатика. - Вып. 36. - М., 1998. - С. 274 - 323.
- Рахилина 2000** — Рахилина Е. В. О тенденциях в развитии когнитивной семантики // Известия АН / Серия литературы и языка. - 2000. - Т. 59, № 3. - С. 3-15.
- Ришар 1998** — Ришар Ж.-Ф. Ментальная активность. Понимание, рассуждение, нахождение решений. - М., 1998.
- Сепир 1993** — Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. - М.: Прогресс; Универс, 1993.
- Соссюр 1977** — Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. Пер. с франц. языка под ред. А. А. Холодовича. - М.: Прогресс, 1977.
- Степанов 1981** — Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения (Семиологическая грамматика). - М.: Наука, 1981.
- Степанов 1983** — Степанов Ю. С. В мире семиотики // Семиотика. - М.: Радуга, 1983. - С. 5-36.
- Степанов 1997** — Степанов Ю. С. Словарь русской культуры. - М., 1997.
- СПЗЯ 1994** — Структуры представления знаний в языке. Сб. научно-аналитич. обзоров. - М., 1994.
- Трофимова 1997** — Трофимова Е. Б. Стратификация языка: теоретико-экспериментальное исследование. АДД. - Барнаул, 1997.
- Убийко 1999** — Убийко В. И. Концептосфера внутреннего мира человека в аспекте когнитивной лингвистики // Виноградовские чтения / Когнитивные и культурологические подходы к языковой семантике. - М., 1999. - С. 52-54.
- Фрумкина 1999** — Фрумкина Р. М. Самосознание лингвистики - вчера и завтра // Известия АН / Серия литературы и языка. - 1999. - Т. 58, № 4. - С. 28-38.
- Хахлвер 1996** — Хахлвер К. Системный подход к эволюции и эволюционной эпистемологии // Современная философия науки. - М.: Логос, 1996. - С. 178-198.
- Циммерлинг 1999** — Циммерлинг А. В. Субъект состояния и субъект оценки (типы предикатов и эпистемическая шкала) //

- Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. - М.: Индрик, 1999. - С. 220-228
- Чернейко 1997** — Чернейко Л. О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. - М., 1997.
- Черных 1994** — Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. - Т. 1-2. - М.: Русский язык, 1994.
- Шахнарович 1998** — Шахнарович А. М. Онтогенез смысла естественности: семантика и текст // Филологические науки. - 1998. - № 1. - С. 56-64.
- Язык в эпоху... 1996** — Язык в эпоху знаковой культуры. Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф. - Иркутск, 17-20 сент. 1996.
- Якобсон 1983** — Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика. - М.: Радуга, 1983. - С. 102-117.
- Addis 1989** — Addis, L. Natural signs: A theory of intentionality. - Philadelphia: Temple UP, 1989.
- Aitchison 1994** — Aitchison, J. Words in the mind. An introduction to the mental lexicon. - Oxford UK & Cambridge USA: Basil Blackwell, 1994.
- Allwood, Anderson, Dahl 1977** — Allwood, J., Anderson, L.-G., Dahl, Ö. Logic in linguistics. - Cambridge UP, 1977.
- Allwood, Gärdenfors 1999** — Allwood, J., Gärdenfors, P. (eds.). Cognitive semantics: Meaning and cognition. - Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 1999.
- Altmann 1998** — Altmann, G. T. M. Ambiguity in sentence processing // Trends in Cognitive Sciences. - 1998. - Vol. 2, N 4. - P. 146-152.
- Bach 1987** — Bach, K. Thought and reference. Oxford UP, 1987.
- Bar-Hillel 1954** — Bar-Hillel, Y. Indexical expressions // Mind. - 1954. - Vol. 63, N 251.
- Bar-Hillel 1963** — Bar-Hillel, Y. Can indexical sentences stand in logical relations // Philosophical Studies. - 1963. - Vol. XIV, N 6. P. 87-90.

- Barlow, Kemmer 2000** — Barlow, M., Kemmer, S. Usage-based models of language. - CSLI Publications, 2000.
- Barsalou 1987** — Barsalou, L. The instability of graded structure: implications for the nature of concepts // Neisser, V. (ed.). Concepts and conceptual development: ecological and intellectual factors in categorization. - Cambridge UP, 1987.
- Baxter 1991** — Baxter, D. L. Berkeley, perception, and identity // Philosophy and Phenomenological Research. -1991. -Vol. 51, N 1. - P. 85-98.
- Bentham, Meulen 1993** — Bentham, J. F. A. K. van, Meulen, A. G. B. ter (eds.). Handbook of logic and language. -MIT Press, 1993.
- Bickerton 1981** — Bickerton, D. Roots of language. - Ann Arbor:Karoma, 1981.
- Bickerton 1990** — Bickerton, D. Language & species. - Chicago & London:The University of Chicago Press, 1990.
- Bloom 2000** — Bloom, P. How children learn the meanings of words. - The MIT Press, 2000.
- Bloomfield 1922** — Bloomfield, L. Review of Sapir's *Language* // The Classical Weekly. -1922. -N 18.
- Bod 1998** — Bod, R. Beyond grammar: An experience-based theory of language. CSLI Publications: Stanford, CA. - 1998.
- Bolinger 1949** — Bolinger, D. The sign is not arbitrary // Boletín del Instituto Caro y Cuervo. - 1949. - Vol. 5. P.56-62.
- Brentano 1988** — Brentano, F. Philosophical investigations on space, time and continuum. - London etc.:Croom Helm, 1988.
- Bühler 1934** — Bühler, K. Sprachtheorie. - Jena, 1934.
- Cann 1993** — Cann, R. Formal semantics. An introduction. - Cambridge UP, 1993.
- Carpenter 1998** — Carpenter, B. Type-logical semantics. - The MIT Press, 1998.
- Carruthers 1996** — Carruthers, P. Language, thought and consciousness. An essay in philosophical psychology. - Cambridge UP, 1996.

- Carstairs-McCarthy 1999** — Carstairs-McCarthy, A. The origins of complex language. An inquiry into the evolutionary beginnings of sentences, syllables, and truth. - Oxford UP, 1999.
- Castañeda 1989** — Castañeda, H.-N. Thinking, language and experience. - Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989.
- Castañeda 1990a** — Castañeda, H.-N. Indicators: The semiotics of experience. - K. Jacobi, H. Pape (eds.). Das Denken und die Struktur der Welt. - Berlin:DeGruyter, 1990.
- Castañeda 1990b** — Castañeda, H.-N. Indexicality: The transparent subjective mechanism for encountering a world // Nous 24.-1990. -P. 735-749.
- Chomsky 1965** — Chomsky, N. Aspects of the theory of syntax. - Cambridge, MA: The MIT Press, 1965.
- Chomsky 1972** — Chomsky, N. Language and mind. - New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
- Chomsky 1975** — Chomsky, N. Reflections on language. - New York: Pantheon, 1975.
- Chomsky 1982** — Chomsky, N. The generative enterprise: A discussion with Riny Huybregts and Henk van Riemsdijk. - Dordrecht:Foris, 1982.
- Chomsky 1987** — Chomsky, N. Language and problems of knowledge. The Managua lectures. - The MIT Press, 1987.
- Chomsky 1991** — Chomsky, N. Linguistics and cognitive science: problems and mysteries // A. Kasher (ed.). The Chomskyan turn: generative linguistics, philosophy, mathematics, and psychology. - Oxford:Blackwell, 1991. - P. 26-55.
- Clark 1996** — Clark, H. H. Using language. - Cambridge UP, 1996.
- Clarke 1987** — Clarke, D. C. Principles of semiotic. - London & N.Y.:Routledge & Kegan Paul, 1987.
- Copi 1961** — Copi, I. M. Introduction to logic. - N.Y.:Macmillan, 1961.
- Craig 1990** — Craig, E. Knowledge and the state of nature: an essay in conceptual synthesis. - Oxford:Clarendon Press, 1990.
- Cresswell 1994** — Cresswell, M. J. Language in the world: a philosophical inquiry. - Cambridge UP, 1994.

- Croft 1998** — Croft, W. Linguistic evidence and mental representations // Cognitive Linguistics. - 1998. - Vol. 9, N 2. - P. 151-173.
- Cummins 1989** — Cummins, R. Meaning and mental representation. - Cambridge, MA.: Bradford Books/The MIT Press, 1989.
- Davis 1991** — Davis, S. (ed.). Pragmatics. A reader. - Oxford UP, 1991.
- Dennett 1992** — Dennett, D. C. Verbal language as a communicative system. Paper presented at AICA conference, Milan, Oct.8, 1992.
- Devitt 1990** — Devitt, M. A narrow representational theory of the mind // Lycan, W. (ed.). Mind and cognition. - Oxford: Basil Blackwell, 1990. - P. 371-398.
- Devitt, Sterelny 1999** — Devitt, M., Sterelny, K. Language and reality. An introduction to the philosophy of language (2nd edition). - The MIT Press, 1999.
- Dickey 2000** — Dickey, S. Parameters of Slavic aspect. - Stanford, CA: CSLI Publications, 2000.
- Dineva 1994** — Dineva, A. Some theoretical principles of cognitive linguistics and their application to the study of the semantics of verbal tenses // Studia Kognitywne / Semantyka kategorii aspektu i czasu. - Warszawa, 1994. - # 1. P. 149-159.
- Dirven, Verspoor 1999** — Dirven, R., Verspoor, M. (eds.). Cognitive exploration of language and linguistics. - John Benjamins, 1998.
- Dummett 1981** — Dummett, M. Frege: philosophy of language (2nd edition). - Cambridge, MA.: Harvard UP, 1981.
- Eco 1984** — Eco, U. Semiotics and the philosophy of language. - Basingstoke, etc.: Macmillan, 1984.
- Evans 1982** — Evans, G. The varieties of reference. - Oxford UP, 1982.
- Everitt, Fisher 1995** — Everitt, N., Fisher, A. Modern epistemology: A new introduction. - New York, etc., 1995.
- Fales 1990** — Fales, E. Causation and universals. - London: Routledge, 1990.
- Fillmore 1986** — Fillmore, C. J. "U"-semantics, second round // Quaderni di semantica. - Bologna, 1986. - Vol. 7, N 1.

- Firth 1957** — Firth, J. R. Papers in linguistics 1934-1951. - Oxford UP, 1957.
- Fodor 1987** — Fodor, J. A. Psychosemantics: the problem of meaning in the philosophy of mind. - Cambridge, MA.: Bradford Books/The MIT Press, 1987.
- Fodor 1990a** — Fodor, J. A. A Theory of Content and other essays. - Cambridge, MA.: The MIT Press, 1990.
- Fodor 1990b** — Fodor, J. A. In critical condition: Polemical essays on cognitive science and the philosophy of mind. - Cambridge, MA: The MIT Press, 1990.
- Fodor 1998** — Fodor, J. A. Concepts: Where cognitive science went wrong. - Oxford: Clarendon Press, 1998.
- Fox 2000** — Fox, C. The ontology of language. - CSLI Publications, 2000.
- Fox, Jurafsky, Michaelis 1999** — Fox, B., Jurafsky, D., Michaelis, L. (eds.). Cognition and function in language. - Cambridge UP, 1999.
- Fromkin, Rodman 1998** — Fromkin, V., Rodman, R. An introduction to language. - Harcourt Brace, 1998.
- Fuchs 1999** — Fuchs, C. Diversity in linguistic representations: A challenge for cognition // C. Fuchs, S. Roberts (eds.). Language diversity and cognitive representations. - Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 1999. - P. 3-19.
- Gärdenfors 1999** — Gärdenfors, P. Some tenets of cognitive semantics // J. Allwood, P. Gärdenfors (eds.). Cognitive semantics: Meaning and cognition. - Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 1999. - P. 19-36.
- Geach 1962** — Geach, T. P. Reference and generality. Ithaca, N.Y.: Cornell UP, 1962.
- Geach, Black 1952** — Geach, T. P., Black, M. Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege. - Oxford: Blackwell, 1952.
- Geeraerts 1988** — Geeraerts, D. Cognitive grammar and the history of lexical semantics // Rudzka-Ostyn B. (ed.). Topics in cognitive linguistics. - Amsterdam: Benjamins, 1988. - P. 647-677.

- Geeraerts 1997** — Geeraerts, D. Diachronic prototype semantics. A contribution to historical lexicology. - Oxford UP, 1997.
- Gelman, Bloom 2000** — Gelman, S. A., Bloom, P. Young children are sensitive to how an object was created when deciding what to name it // *Cognition*. - 2000. - Vol. 76, N 2. - P. 91-103.
- Gerhardt 1890** — Gerhardt, C.I. Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. Vol. VII. - Hildesheim: Olms Verlagsbuchhandlung, 1890.
- Givón 1995** — Givón, T. Functionalism and grammar. - Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995.
- Goldman 1976** — Goldman, A. Discrimination and perceptual knowledge // *Journal of Philosophy*. -1976.- Vol. 73.- P.771-791.
- Grice 1967** — Grice, H. P. The causal theory of perception // Warnock, G. J. (ed.). *The Philosophy of Perception*. - Oxford UP, 1967. - P.85-112.
- Grondin 1994** — Grondin, J. Introduction to philosophical hermeneutics. - New Haven: Yale UP, 1994.
- Haldane 1989** — Haldane, J. Naturalism and the problem of intentionality // *Inquiry*. - 1989. - Vol. 32.- P. 305-322.
- Haldane 1992** — Haldane, J. Putnam on intentionality // *Philosophy and Phenomenological Research*. -1992. -Vol.52, N 3.-P.671-682.
- Harnish, Brand 1986** — Harnish, R., Brand, M. (eds.). *The representation of knowledge and belief*. - Tucson:University of Arizona Press, 1986.
- Heath 1988** — Heath, P. On language. The diversity of human language-structure and its influence on the mental development of mankind. - Cambridge UP, 1988.
- Heine 1997** — Heine, B. *Cognitive foundations of grammar*. - Oxford UP, 1997.
- Hornstein 1986** — Hornstein, N. Logic as grammar. An approach to meaning in natural language. - The MIT Press, 1986.
- Hurford et al. 1998** — Hurford, J. R., Studdert-Kennedy, M., Knight, C. *Approaches to the evolution of language*.- Cambridge UP, 1998.
- Israel 1987** — Israel, D. Review of: M. Cresswell. *Structured Meanings. The semantics of propositional attitudes*. The MIT Press,

- 1985 // *Computational Linguistics*. - 1987. - Vol. 13, N 3/4. - P. 358-363.
- Jackendoff 1983** — Jackendoff, R. *Semantics and cognition*. - Cambridge, MA: The MIT Press, 1983.
- Jackendoff 1992** — Jackendoff, R. *Language of the mind*. - Cambridge, MA.: The MIT Press, 1992.
- Jackendoff 1996** — Jackendoff, R. *The architecture of the language faculty*. - The MIT Press, 1996.
- Jackendoff 1997** — Jackendoff, R. *Semantics and cognition* // S. Lappin (ed.). *The handbook of contemporary semantic theory*. - Blackwell, 1997. - P. 539-559.
- Jackendoff 1999** — Jackendoff, R. Possible stages in the evolution of the language capacity // *Trends in Cognitive Sciences*. - 1999. - Vol. 3, N 7. - P. 272-279.
- Jenkins 2000** — Jenkins, L. *Biolinguistics. Exploring the biology of language*. - Cambridge, MA.:Cambridge UP, 2000.
- Johnson 1989** — Johnson, M. *Attribute-value logic and the theory of grammar*. - Cambridge UP, 1989.
- Johnson-Laird 1983** — Johnson-Laird, P. N. *Towards a cognitive science of language, inference, and consciousness*. - Cambridge UP, 1983.
- Josephson, Blair 1982** — Josephson, B. D., Blair, D. G. *A holistic approach to language*. Departmental report. Cambridge University, Dept. of Physics, Theory of Condensed Matter Group. 1982 (www.cogprints.../ling/199809001).
- Katz 1990** — Katz, J. J. *The metaphysics of meaning*. - Cambridge, MA.: The MIT Press, 1990.
- Keenan, Stabler 2000** — Keenan, E., Stabler, E. *Bare grammar*. - Cambridge UP, 2000.
- Keller 1998** — Keller, R. *A theory of linguistic signs*. Transl. by K.Duenwald. - Oxford UP, 1998.
- Koenig 1998** — Koenig, J.-P. (ed.). *Discourse and cognition. Bridging the gap*. - Cambridge UP, 1998.
- Kripke 1980** — Kripke, S. *Naming and necessity*. - Cambridge, MA.:Harvard UP, 1980.

- Lafont 1999** — Lafont, C. The linguistic turn in hermeneutic philosophy. - The MIT Press, 1999.
- Lakoff 1987** — Lakoff, G. Women, fire, and dangerous things. - Chicago: University of Chicago Press, 1987.
- Lamberts, Shanks 1997** — Lamberts K., Shanks, D. (eds.). Knowledge, concepts, and categories. - Cambridge, MA: The MIT Press, 1997.
- Langacker 1987** — Langacker, R. W. Foundations of cognitive grammar. - Vol. 1: Theoretical prerequisites. - Stanford, 1987.
- Langacker 1988** — Langacker, R. W. Autonomy, agreement, and cognitive grammar // D. Bentari, G. Larson, L. MacLeod (eds.). Papers from the 24th Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society. Part Two: Parasession on agreement in grammatical theory. - Chicago: Chicago Linguistic Society, 1988. - P. 147-180.
- Langacker 1991** — Langacker, R. W. Concept, image, and symbol: The cognitive basis of grammar. - Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1991.
- Larson, Segal 1995** — Larson, R., Segal, G. Knowledge of meaning. An introduction to semantic theory. - The MIT Press, 1995.
- Lepore, Pylyshyn 1999** — Lepore, E., Pylyshyn, Z. (eds.). What is cognitive science? - Blackwell, 1999.
- Levinson 1983** — Levinson, S. C. Pragmatics. - Cambridge UP, 1983.
- Levinson 2000** — Levinson, S. C. Presumptive meanings. The theory of generalized conversational implicature. - The MIT Press, 2000.
- Lewis 1969** — Lewis, D. Convention. A philosophical study. - Cambridge, MA.: Harvard UP, 1969.
- Leyton 1999** — Leyton, M. New foundations for perception // E. Lepore, Z. Pylyshyn (eds.). What is cognitive science? - Blackwell, 1999. -P.121-171.
- Link 1998** — Link, G. Algebraic semantics in language and philosophy. - Cambridge UP, 1998.
- Loritz 1999** — Loritz, D. How the brain evolved language. - Oxford UP, 1999.
- Luce, Jessop 1948-57** — Luce, A. A., Jessop, T. E. The works of George Berkeley. - London: Thomas Nelson, 1948-57.

- Ludlow 1993** — Ludlow, P. Do T-theories display senses? // The Electronic Journal of Analytic Philosophy 1:5, 1993 (<http://www.phil.indiana.edu/ejap/>).
- Lycan 1990** — Lycan, W. (ed.). Mind and cognition. - Oxford: Basil Blackwell, 1990.
- Lycan 1996** — Lycan, W. Consciousness and experience. - Cambridge, MA: The MIT Press, 1996.
- Margolis 1999** — Margolis, E. How to acquire a concept // E. Margolis, S. Laurence (eds.). Concepts. - Cambridge, MA: The MIT Press, 1999. - P. 549-567.
- Margolis, Laurence 1999** — Margolis, E., Laurence, S. (eds.). Concepts. - Cambridge, MA: The MIT Press, 1999.
- Matan, Carey 2001** — Matan, A., Carey, S. Developmental changes within the core of artifact concepts // Cognition. - 2001. - Vol. 78, N 1. - P. 1-26.
- Matilal 1990** — Matilal, B. K. The word and the world. - Delhi: Oxford UP, 1990.
- Maturana 1978** — Maturana, H. R. Biology of language: The epistemology of reality // Miller, G., Lenneberg, E. (eds.) Psychology and biology of language and thought. - NY:Academic Press, 1978. P. 28-62.
- Maturana 1988** — Maturana, H. R. Reality: The search for objectivity or the quest for a compelling argument // The Irish Journal of Psychology. - 1988. - Vol. 9, # 1. P. 25-82.
- Maturana 1995** — Maturana, H. R. The nature of time. Manuscript, 1995 (<http://www.informatik.umu.se>)
- Maturana, Varela 1980** — Maturana, H., Varela, F. Autopoiesis and cognition: The realization of the living. - Boston:D Reidel, 1980.
- Maturana, Mpodozis, Letelier 1995** — Maturana, H., Mpodozis, J., Letelier, J. C. Brain, language, and the origin of human mental functions // Biological Research. - 1995. Vol. 28. - P. 15-26.
- McGregor 1997** — McGregor, W. B. Semiotic grammar. - Oxford UP, 1997.
- Millar 1991** — Millar, A. Reasons and experience. - Oxford:Clarendon Press, 1991.

- Moreno, Merelo, Etxeberria 1992** — Moreno, A., Merelo, J. J., Etxeberria, A. Perception, adaptation and learning // B. McMullin, N. Murphy (eds.). Autopoiesis and perception: A workshop with ESPRIT BRA 3352. Dublin, 1992. - P. 65-70.
- Morris 1938** — Morris, C. W. Foundations of the theory of signs // International encyclopedia of united sciences. - Chicago, 1938. - Vol. 1, part 2.
- Morris 1964** — Morris, C. W. Signification and significance. - New York, 1964.
- Murphy 1992** — Murphy, N. The causal and symbolic explanatory duality as a framework for understanding vision // B. McMullin, N. Murphy (eds.). Autopoiesis and perception: A workshop with ESPRIT BRA 3352. Dublin, 1992. - P. 15-25.
- Neisser 1987** — Neisser, V. (ed.). Concepts and conceptual development: ecological and intellectual factors in categorization. - Cambridge UP, 1987.
- Nelson et al. 2000** — Nelson, D. G. K., Frankenfield, A., Morris, C., Blair, E. Young children's use of functional information to categorize artifacts: three factors that matter // Cognition. - 2000. - Vol. 77, N 2. - P. 133-168.
- Newmeyer 1998** — Newmeyer, F. J. On the supposed 'counterfunctionality' of Universal Grammar: some evolutionary implications // J. R. Hurford, M. Studdert-Kennedy, C. Knight (eds.). Approaches to the evolution of language: Social and cognitive bases. - Cambridge UP, 1998. - P. 305-319.
- Nikanne, Zee 2000** — Nikanne, U., Zee, E. van de (eds.). Cognitive interfaces. Constraints on linking cognitive information. - Oxford UP, 2000.
- Nolan 1994** — Nolan, R. Cognitive practices: Human language and human knowledge. - Cambridge, MA.:Blackwell, 1994.
- Ogden, Richards 1923** — Ogden, C. K., Richards, I. A. The meaning of "meaning". - London, 1923.
- Oller 2000** — Oller, D. K. The emergence of the speech capacity. - Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2000.

- Olson 1994** — Olson, D. The world on paper. The conceptual and cognitive implications of writing and reading. - Cambridge, MA.: Cambridge UP, 1994.
- Palmeri, Blalock 2000** — Palmeri, T. J., Blalock, C. The role of background knowledge in speeded perceptual categorization // Cognition. - 2000. - Vol. 77, N 2. - P. B45-B57.
- Papineau 1987** — Papineau, D. Reality and representation. - Oxford: Basil Blackwell, 1987.
- Peirce 1960** — Peirce, C. S. Elements of logic // Collected papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1960. Vol. 2.
- Pendlebury 1987** — Pendlebury, M. Stalnaker on Inquiry // Journal of Philosophical Logic. - 1987. - Vol. 16. - P. 229-272.
- Pendlebury 1990** — Pendlebury, M. Sense experiences and their contents: a defence of the propositional account // Inquiry. - 1990. - Vol. 33. P. 215-230.
- Pendlebury 1994** — Pendlebury, M. Content and causation in perception // Philosophy and Phenomenological Research. - 1994. - Vol. 54, N. 4. - P. 767-785.
- Perry 1977** — Perry, J. Frege on demonstratives // The Philosophical Review. - 1977. - Vol. 86. - P. 474-497.
- Peterson, Siegal 1995** — Peterson, C., Siegal, M. Deafness, conversation and theory of mind // Journal of Child Psychology and Psychiatry. - 1995. - Vol. 36. - P. 459-474.
- Philipse 1992** — Philipse, H. Heidegger's question of being and the Augustinian picture of language // Philosophy and Phenomenological Research. - 1992. - Vol. 52, N. 2. - P. 251-287.
- Pinker 1995a** — Pinker, S. Facts about human language relevant to its evolution // J.-P. Changeux, J. Chavillon (eds.). Origins of the human brain. - Oxford: Clarendon Press, 1995. - P. 262-283.
- Pinker 1995b** — Pinker, S. The language instinct: How the mind creates language. - New York, NY: Harper Perennial, 1995.
- Platts 1997** — Platts, M. Ways of meaning. An introduction to a philosophy of language (2nd edition). - The MIT Press, 1997.

- Powell 1998** — Powell, G. The deferred interpretation of indexicals and proper names // UCL Working Papers in Linguistics 10.-1998. (The Internet edition)
- Premack 1990** — Premack, D. The infant's theory of self-propelled objects // *Cognition*. - 1990. - Vol.36, # 1. - P. 1-16.
- Putnam 1988** — Putnam, H. Representation and reality. - Cambridge, MA.: The MIT Press, 1988.
- Putnam 1990** — Putnam, H. Realism with a human face (ed. by J. Conant).- Cambridge, MA.:Harvard UP, 1990.
- Rips 1989** — Rips, L. Similarity, typicality, and categorization // Voisiadou, S., Ortony, A. (eds.). Similarity, analogy and thought. - N.Y.:Cambridge UP, 1989.
- Rosch 1973** — Rosch, E. H. Natural categories // *Cognitive Psychology*. - 1973. - Vol. 4. - P. 328-350.
- Rosch 1977** — Rosch, E. H. Human categorization // N. Warren (ed.). Studies in cross-cultural psychology. - N.Y.:Academic Press, 1977. - Vol. 1. - P. 1-49.
- Rosch 1999** — Rosch, E. H. Principles of categorization // E. Margolis, S. Laurence (eds.). Concepts. - Cambridge, MA: The MIT Press, 1999.
- Rosenberg, Travis 1971** — Rosenberg, J. F., Travis, C. (eds.) Readings in the philosophy of language. - Prentice-Hall:Englewood Cliffs, N. J., 1971.
- Russell 1956** — Russell, B. Logic and knowledge (ed. by R.C.Marsh). - London: Allen and Unwin, 1956.
- Ryle 1949** — Ryle, G. The concept of mind. - London:Hutchinson, 1949.
- Salmon 1986** — Salmon, N. Frege's puzzle. - Cambridge, MA.: The MIT Press, 1986.
- Salmon 1990** — Salmon, N. Reference and information content: names and descriptions // D. Gabbay, F. Guenther, (eds.). Handbook of philosophical logic. - Vol. 4. - Dordrecht:Reidel, 1990. - P. 409-461.
- Schleicher 1863** — Schleicher, A. Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft Offenes Sendschreiben an Herrn Dr. Ernst

- Häkel. - Weimar: Böhlau, 1863 (reprinted in: Linguistics and evolutionary theory. - Amsterdam:Benjamins, 1983).
- Schwartz 1994** — Schwartz, R. Vision: variations on some Berkeleyian themes. - Oxford:Basil Blackwell, 1994.
- Shyns 1997** — Shyns, P. G. Categories and percepts: a bi-directional framework for categorization // Trends in Cognitive Sciences. - 1997. - Vol. 1, N 5. - P. 183-189.
- Searle 1983** — Searle, J. Intentionality: an essay in the philosophy of mind. - Cambridge UP, 1983.
- Seuren 1985** — Seuren, P. A. Discourse semantics. - Oxford:Blackwell, 1985.
- Seuren 1998** — Seuren, P. A. Western linguistics. An historical introduction. - Blackwell, 1998.
- Skoyles 1998** — Skoyles, J. R. The Sapir-Whorf hypothesis: new surprising evidence. (Internet published paper: www.cogprints.../psyc.199901008).
- Smith, Medin 1981** — Smith, E., Medin, D. Categories and concepts. - Cambridge, MA.:Harvard UP, 1981.
- Sperber, Wilson 1997** — Sperber, D., Wilson, D. The mapping between the mental and the public lexicon // UCL Working Papers in Linguistics 9.- 1997. (The Internet edition)
- Stabler 1993** — Stabler, E. P. The logical approach to syntax. Foundations, specifications, and implementations of theories of government and binding. - The MIT Press, 1993.
- Stemmer 1999** — Stemmer, B. An on-line interview with Noam Chomsky: On the nature of pragmatics and related issues // *Brain and Language*. - 1999. - Vol. 68, N 3. - P.393-401.
- Stenlund 1990** — Stenlund, S. Language and philosophical problems. - London: Routledge, 1990.
- Stich 1992** — Stich, S. What is a theory of mental representation?// *Mind*.- 1992. - Vol. 101, N 402. - P. 243-261.
- Srawson 1974** — Srawson, P. F. Causation in perception // Strawson, P. F. Freedom and Resentment and other essays. - London: Methuen, 1974.
- Talmy 2000** — Talmy, L. Toward a cognitive semantics. Vol. 1-2. - MIT Press, 2000.

- Tarski 1956** — Tarski, A. Logic, semantics, metamathematics. - Oxford: Clarendon Press, 1956.
- Taschek 1992** — Taschek, W. W. Frege's puzzle, sense, and information content // *Mind*. -1992. - Vol. 101, N. 404. - P. 767-791.
- Taylor 1989** — Taylor, J. R.. Linguistic categorization: Prototypes in linguistic theory. - Oxford, 1989.
- Taylor 1996** — Taylor, J. R.. On running and jogging // *Cognitive Linguistics*. - 1996. - Vol. 7, N 1. - P. 21-34.
- Tomasello 2000** — Tomasello, M. The pragmatics of word learning // 7th International Pragmatics Conference / Abstracts. Budapest, 9-14 July 2000. - P. 9.
- Tomasello, Brooks 1998** — Tomasello, M., Brooks, P. J. Young children's earliest transitive and intransitive constructions // *Cognitive Linguistics*. - 1998. - Vol. 9, N 4. - P. 379-395.
- Ulbaek 1998** — Ulbaek, I. The origin of language and cognition // *Approaches to the evolution of language*. - Cambridge UP, 1998. - P. 30-43.
- Vanderveken 1990** — Vanderveken, D. Meaning and speech acts (Vol. 1. Principles of language use). - Cambridge UP, 1990.
- Van Valin, LaPolla 1997** — Van Valin, R., D., LaPolla, R. L. Syntax. Structure, meaning and function. Cambridge UP, 1997.
- Varela 1992** — Varela, F. J. Autopoiesis and a biology of intentionality // B. McMullin, N. Murphy (eds.). *Autopoiesis and perception: A workshop with ESPRIT BRA 3352*. Dublin, 1992. - P. 4-14.
- Vendler 1968** — Vendler, Z. Adjectives and nominalizations. The Hague: Mouton, 1968.
- Verschueren 1999** — Verschueren, J. Understanding pragmatics. - Oxford UP, 1999.
- Villanueva 1990** — Villanueva, E. (ed.). Information, semantics and epistemology. - Oxford: Basil Blackwell, 1990.
- Wallis, Bülthoff 1999** — Wallis, G., Bülthoff, H. Learning to recognize objects // *Trends in Cognitive Sciences*. - 1999. - Vol. 3, N 1. - P. 22-31.
- Wettstein 1991** — Wettstein, H. Has semantics rested on a mistake? And other essays. - Stanford UP, 1991.

- Wierzbicka 1972** — Wierzbicka, A. Semantic primitives. - GmbH, etc.: Athenäum Verlag, 1972.
- Wierzbicka 1989** — Wierzbicka, A. Prototypes in semantics and pragmatics: explicating attitudinal meanings in terms of prototypes // *Linguistics*. - 1989. - Vol. 27, N 4.
- Wierzbicka 1996** — Wierzbicka, A. Semantics. Primes and universals. - Oxford UP, 1996.
- Wittgenstein 1922** — Wittgenstein, L. *Tractatus logico-philosophicus*. - London, 1922 [рус. пер.: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. - М., 1958].
- Zolo 1989** — Zolo, D. Reflexive epistemology: The philosophical legacy of Otto Neurath // *Boston Studies in the Philosophy of Science*. Vol. 118. Dordrecht: Kluwer, 1989.